

Сергей Катканов

Стоит ли об этом?

мемуары

Сергей Юрьевич Катканов

Стоит ли об этом?

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68445818

SelfPub; 2022

Аннотация

Что может быть интересного в историях из жизни незнакомого человека? Но что если в этих историях отражается та реальность, которая вам интересна? Может быть, среди загадок чьей-то судьбы вы найдёте ключи для понимания собственной жизни?

Содержание

Фамилия	5
Детство отца	12
Мы плывём на самоходке	29
Флагман	29
Его похоронили в море	31
От винта за кормой	33
Чайки	35
Мячик	37
Импортный корабль	40
Флотской порядок	42
Дизельная колыбельная	45
Стальное тело	46
Машинное отделение	47
Кампания кают	49
Валера	51
Снежный рейс	53
Попугайчик	55
Речной волк	56
Где мой белый пистолет	60
Запахи	62
Шлюзы	64
Москва	66
Кириллов	68

Прощание славянки	71
Когда в поле дует осенний ветер	73
14 лет	76
15 лет	79
16 лет	81
17 лет	83
18 лет	91
19 лет	94
20 лет	101
21 год	104
Тридцать лет спустя	109
Костёр на льду	115
Суд над бандой четырех	143
Сиреневая даль	160
Ошибка резидента	161
На поленьях смола, как слеза	168
Дорога до школы	175
Продлёнка	179
Серебро на берёзах	184
Вдоль края	190
От звонка до звонка	197
Как я пришёл к вере	239

Сергей Катканов

Стоит ли об этом?

Фамилия

Раньше мне не нравилась моя фамилия. Она казалась мне невнятной и неблагозвучной. Никто не мог её с первого раза правильно расслышать, приходилось по несколько раз повторять. Это раздражало. А потом я понял, что это всё ерунда, и теперь мне моя фамилия нравится. Что толку быть, например, Смирновым или Плотниковым? Банально и скучно. Всё вроде бы понятно, но ни о чём не говорит. А в моей фамилии – загадка. Мужчине идёт загадочность. У меня с этим всё в порядке.

Но с другой стороны, фамилия должна быть путеводной нитью на жизненном пути. Она должна определять судьбу, указывать откуда я пришёл и куда мне в силу этого надлежит идти. Вот будь я, к примеру, Гогенцоллерном – всё было бы понятно и мне, и окружающим. Или Голицыным. Тогда я мог бы сказать: «Я из рода Гедиминовичей, и моя задача – показать, что такое быть настоящим Гедиминовичем в современном мире». А мне куда идти и кому чего доказывать? Не понятно.

Мою фамилию никто ещё достаточно убедительно не рас-

толковал. Отец говорил, что наша фамилия происходит от слова «кот» и раньше звучала «Котканов». Но почему тогда не Котов или Котовский? Это объяснение меня не удовлетворило, но другого у отца не было.

Мой друг уверен, что моя фамилия происходит от слова «канать», то есть «бежать». Но почему тогда не Канаев? Есть, кстати, такая фамилия. Всё это слишком большие натяжки, основанные на неправильном подходе – они пытаются объяснить эту фамилию через какое-то одно понятие, а в ней очевидным образом звучат два корня. И ни один не ясен.

Однажды меня осенило. Я вдруг УСЛЫШАЛ свою фамилию. Мне стало внятно её первоначальное звучание: КАТХАНОВ. Тут просто «х» по законам языка со временем ассимилировалось и превратилось в «к». А первоначальная форма по-видимому звучала «КАТ-ХАН». Вот такие дела. Из Чингизидов мы.

Однако, что же значит «КАТ»? И тут я, слегка обалдев, вспомнил, что по-древнерусски «кат» значит «палач». Впрочем, я относительно легко переварил это открытие, философски заключив: «Ну да, суров был предок». И та лёгкость, с которой я принял немного шокирующую правду, косвенно подтверждала, что это действительно правда.

Хотя корень «кат» вовсе не обязательно должен быть древнерусским. Мало ли из какого он ещё языка. Однажды я поделился с одним армянином догадкой о своём ханском происхождении, и он сразу же заключил: «Всё правильно.

Твоя фамилия переводится «владыка молока»». А потом как-то в письме он назвал меня «достойным сыном армянского народа». К древнему армянскому народу я отношусь с большим уважением, но полагаю, что «армянский след» в истории моих предков неизбежно заведёт в тупик. Я армянин только в том случае, если Адам был армянином. От КАТ-ХАНА пахнет степью, а не горой Арарат.

Косвенные подтверждения этого не замедлили. Во-первых, я однажды обнаружил одного Катканова в Казани. Где же ему ещё и быть. Во-вторых, я как-то встретил свою фамилию в исконном, на мой взгляд, звучании: КАТХАНОВ. В-третьих, данные в пользу этой версии уже полвека регулярно предоставляет мне зеркало. Черты лица несут явный восточный след, но никак не армянский – борода и усы растут по-другому. Это «монголоидный тип оволосения лица». Хочешь радуйся, хочешь плачь, но это так.

Сначала хотелось заплакать. Я находил мало удовольствия в том, чтобы вести свою родословную от «монголо-татарского ига». И к современным татарам я отношусь примерно так, как это предписывает поговорка про незваного гостя. Сейчас я уже могу и не извиняться за такое отношение к татарам, потому что и сам похоже... из них. Но что же делать? Нельзя объявлять правдой то, что максимально удобно и приятно. Надо учиться жить с той правдой, какая есть.

И я стал учиться. Во-первых, думаю, при чём тут татары? Ханы у них были только из монголов, из Чингизидов. Монго-

лы привели на Русь бесчисленное количество тюркских народов, условно говоря – татар, но сами они не были тюрками. Недавно в разговоре с одним очень умным и опытным человеком я сказал, что чувствую себя русским человеком. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Да, ты русский. Но с примесью монгольской крови». Вот, думаю, человек сразу почувствовал. Не тюркская во мне кровь, а монгольская.

Во-вторых, мало ли аристократических русских родов вели своё происхождение от монголо-татар. Юсуповы, например. И даже Годуновы. Не говоря уже о разного рода Рахметовых. То есть, в принципе, с этим можно жить.

В-третьих, хан – это, по нашему говоря, царь. То есть всё-таки получается, что я – царского рода. Чингизиды – сильная династия. Они такого шороха навели, что и до сих пор по всему миру последствия. Недавно я сказал в узком кругу: «Я вам не какой-нибудь там мурза. Я – хан». Ну это чтобы своих посмешить, а то я опасаюсь выглядеть слишком торжественно. Но про себя я думаю о своей принадлежности к великой династии очень даже серьёзно.

Недавно посмотрел сериал про Чингиз-хана. И душа откликнулась на романтику степей, вполне ощутив энергию великого пассионарного порыва. Это, пожалуй, вполне моё, хотя на мой вкус эти парни были малость диковаты. Но если разобраться, Чингиз вряд ли превосходил по дикости Хлодвиг и Рюрика, да, я думаю, что и Тарквиний мало напоми-

нал утончённого аристократа.

Да и к тюркам под напором новых фактов я стал последнее время относиться куда лучше. Всё же есть в них нечто достойное самого глубокого уважения. И я так начал думать не потому что мне это удобно. Новые факты, новые углы зрения, новые ощущения порою очень видоизменяют реальность души.

Мой отец вырос в глухой и убогой русской деревне, но черты лица имел очень благородные. (Куда более благородные, чем мои. Во всяком случае, тот предмет, который торчит у меня над верхней губой, заметно уступает по форме точёному отцовскому носу). И в характере отца присутствовало благородство, которое трудно было впитать в диковатой среде, которая его вырастила. Думаю, это наследственное, нечто прорвавшееся сквозь десятки поколений.

Отец был по-восточному горяч, но справедлив. Я унаследовал и его горячий нрав, и стремление к справедливости. Ещё отец очень любил наводить порядок. («Орда» и «орден» – однокоренные слова и происходят от латинского «ордо» – порядок). Надеюсь, что и это во мне есть. Слово отца всегда было «со властью», он был рождён для того, чтобы приказывать, точнее – повелевать, хотя больших чинов не достиг, то есть умение повелевать не было воспитано в нём жизнью, оно было генетическим. Я чувствую это и в себе. Ханскую натуру не пропьёшь, хотя я и пытался. Впрочем, мне довольно быстро разонравилось руководить, стремление

подчинить степь стало казаться нестоящим усилий, и я ушёл в степь своей души. Но когда мне приходилось приказывать, я чувствовал, что для меня это естественно, органично, просто.

Что во мне от предка хана? Хан живёт войной. И я всю жизнь воевал, хотя род занятий не вынуждал меня к этому. Я воевал при помощи того, что попало под руку, а это была авторучка. Что ни говори, а во мне всегда жило желание изменить степь вокруг себя. И я это делал, как умел.

Иногда я встречал в истории имена, которые буквально били меня по душе. Например, Луций Сергей Катилина – древнеримский смутьян. Мало того, что Катилина, так ещё и Сергей. Неплохо бы разобраться, а у него-то в прозвище откуда корень «кат»? Но Катилина – герой не моего романа, и я не стал разбираться.

Ещё я был поражён тем, что японское буквенное письмо называется «КАТАКАНА» – чуть ли не точное совпадение с моей фамилией. Есть, кстати, версия, что Чингиз-хан на самом деле родом из Японии. И в названии японского меча – «катана» звучит всё тот же корень «кат». Всё это сильно волнует, но боюсь, что никуда не ведёт.

Однажды, один мой знакомый краевед сказал мне, что встретил в дореволюционной церковной книге Междуреченского района упомянутого в качестве крестного отца крестьянина Аполлона Катканова. Меня это заинтересовало. Он говорит:

– Если ещё встречу вашу фамилию, сделать для вас выписку?

– Да, конечно.

– Может быть, мне и удастся внести свой вклад в каткановедение.

К сожалению, этот человек вскоре умер и «каткановедение» остаётся слабо разработанной отраслью науки.

Детство отца

Мой отец, Катканов Юрий Владимирович, родился и вырос в деревне Марковская Авксентьевского сельсовета Усть-Кубенского района Вологодской области. Это не столь уж далеко от Вологды, но из-за отсутствия дорог, деревня была самым настоящим медвежьим углом со всеми вытекающими последствиями.

Он родился в 1938 году, а в 1941 году его отец, мой дед ушёл на фронт. Тогда же, в 1941-м, семья получила похоронку. Не столь давно я нашёл имя деда в «Книге памяти» Вологодской области. Там сказано, что он умер от болезни в Череповецком госпитале. Не факт, что дед вообще успел добраться до фронта. Может быть, призвали уже больного. Или всё-таки успел повоевать месяц-другой? Теперь уже никто не расскажет.

Я вообще ничего не знаю про своего деда. Я даже отчества его не знал. Когда отец умер, для его подзахоронения рядом с могилой матери, потребовали справку о родителях. Я пошёл в архив и только тогда узнал, что моего деда звали Владимир Николаевич. А отец не знал отчества собственного отца. Ему не было и 3-х лет, когда его отец навсегда покинул дом. Он мог что-то расспросить у мамы, но она умерла, когда ему было 23 года. Молодёжь редко интересуется историей своей семьи, когда же начинает интересоваться, и рас-

спросить бывает уже некого.

Итак, я вообще ничего не знаю про своего деда, Катканова Владимира Николаевича. Не сохранилось даже ни одной фотографии. Такая уж была деревня Марковская – там не фотографировались. Говорят, была одна-единственная фотография – «три на четыре», с какого-то документа. С неё мой отец, когда ещё был молодым, заказал увеличенный портрет, но ему очень не понравилось, как его сделали. Ретушь слишком грубая, да ещё зачем-то галстук дорисовали, а дед в жизни никогда не носил и не имел галстуков.

Я помню, как отец рассказывал мне про этот неудачный фотопортрет моего деда. И сейчас я совершенно не могу понять, почему я тогда не попросил отца показать мне этот портрет. Да будь этот портрет хоть трижды неудачным, но хоть какие-то черты лица на нём можно было всё-таки рассмотреть. Лишь недавно, то есть много лет спустя после смерти отца, я спросил у мамы об этом портрете. Она сказала, что дома у нас его нет, куда-то пропал, а куда – неизвестно. Но сама она его раньше видела и сказала, что у моего деда были тонкие черты лица. Откуда у крестьянина из убогой нищей деревни тонкие черты лица? А вот из того самого неисповедимого прошлого, когда некий КАТ-ХАН, аристократ степей, дал начало русской фамилии Катканов.

Отец рассказывал, что его мама, моя бабушка Парасковия Никифоровна Катканова (в девичестве – Соколова) не умела ни читать, ни писать. До какой же степени дикой была та

деревня, в которой она родилась и выросла, если она за свою жизнь и года не ходила в школу? Отец научил её писать свою собственную фамилию в последние годы её жизни, но букв она так и не выучила, просто зрительно запомнила, как выглядят те закорючки, которые означают её фамилию. Этот факт до сих пор с трудом укладывается у меня в голове. Моя родная бабушка (1903-1962) не умела читать. Тогда получается, что и дед вряд ли умел читать. Родной дед.

Отец иногда рассказывал мне о своём детстве. Мне эти рассказы всегда было интересно слушать, и когда я уже был журналистом, как-то предложил ему: «Давай напишу о твоём детстве». Отец неожиданно жёстко отрезал: «Не надо. Это теперь никому не интересно. Это даже мне теперь не интересно». Если отец вот так жёстко отказывал, уговаривать его было бесполезно. И всё-таки я теперь считаю, что сдался тогда слишком легко. Можно было через некоторое время подойти к этой теме с другого бока, можно было схитрить – просто расспрашивать его без записи, а сразу же после встречи всё записывать. Но я не проявил настойчивости, о чём сейчас очень жалею.

Потом, уже после смерти отца, я много раз спрашивал себя: почему он не захотел, чтобы я написал о его детстве? Из скромности? Ну, может быть, отчасти. Но по тому, как решительно он отказал, было заметно, что главное тут в другом. Он считал, что незначительные судьбы маленьких людей никому не могут быть интересны, и это просто скучно?

Наверное, но опять лишь отчасти. Вообще-то отец никогда не отказывался давать интервью для ведомственной газеты, и было похоже, что ему это даже нравится. Но там речь шла о его работе, а вот о детстве он под запись говорить не хотел. Почему?

Только сейчас, когда я решил набросать эти автобиографические заметки, я понял отца. Прикидывая, о чём можно бы написать, я почувствовал, что некоторые фрагменты своей жизни не соглашусь расписывать ни при каких обстоятельствах. Я уже настроился на максимальную искренность, и на безжалостную по отношению к себе откровенность, потому что я ни перед кем не хочу выглядеть лучше, чем я есть, и перед самим собой – в первую очередь. Но я почувствовал, что любая откровенность должна иметь свой предел, за которым начинается бесстыдство, основанное, как правило, на бесчувственности. В жизни каждого человека есть такие ситуации, а то и целые периоды жизни, которые так сильно травмировали его психику, что и десятилетия спустя он не хочет о них вспоминать, во всяком случае – публично. Это, как правило, ситуации, связанные с крайним унижением.

Вот именно поэтому отец не хотел, чтобы я записывал его детские воспоминания. Крайняя нищета, когда человек постоянно испытывает голод, сводящий его с ума, это унижительно до такой степени, это настолько сильно травмирует психику, что выставлять на всеобщее обозрение сведения об этом, кажется чем-то неловким и болезненно неприятным.

Не случайно ведь отец сказал: «Это теперь даже мне не интересно». Ему неприятно было об этом вспоминать, старое унижение вспыхивало в душе с новой силой. С сыном на кухне можно порою и разоткровенничаться, но так, чтобы о этом узнали все...

Кто-то из персонажей Достоевского, рассуждая о том, что бедность не порок, сказал, что бедность – действительно не порок, а вот нищета – уже порок. Не удивительно, что тот период жизни, когда человек балансировал на грани голодной смерти, он не то чтобы хочет совсем забыть, но предпочитает отодвинуть на периферию сознания, как то, за что крайне неловко.

В итоге рассказы отца о детстве были случайны, отрывочны, и основную их часть я просто позабыл, потому что в моём сознании они не сложились ни в какую систему. Но то, что я всё-таки запомнил – уже никогда не смогу забыть.

В семье отца было четверо детей, он – младший. После войны в деревнях царил страшный голод. Моя бабушка, вдова солдата, работала, как проклятая, в колхозе, но не имела чем кормить детей. Старший сын, Павел, дотянул до 18 лет и умер от голода. Потом умерла от голода старшая дочь, Нина, ей было 10 лет. Вторая сестра отца, Антонина, когда ей было 11 лет, пошла работать на лесозаготовки. До сих пор не могу представить, как это могло быть – маленькая голодная девочка, работающая на лесоповале. Но это было. Каждый день она приносила домой хлеб, который давали только

тем, кто работал в лесу. Мой отец и его мать выжили только благодаря этому хлебушку, хотя перемолотой еловой коры в нём было больше, чем муки. Отец говорил, что впервые попробовал настоящий хлеб, когда ему было 18 лет.

Тот послевоенный голод иногда объясняют неурожаем, но ведь в городах никто не голодал. Хоть там и бедно жили, но от голода не умирали. И в деревнях тоже голодали далеко не все, советские начальники жили очень даже неплохо. Отец рассказывал, что у них в деревне сосед был – председатель сельсовета, так его семья вполне прилично питалась. Один раз моя бабушка зашла к ним по делу, а у них стол был пшеничными булочками завален, видимо, только из печки их достали. Нам сейчас трудно представить, какими глазам смотрела на пшеничные булочки мать, дети которой даже ржаной хлеб пополам с еловой корой считали за праздник. Бабушка не удержалась и сунула одну булку себе под фартук. Хозяева это заметили и долго её стыдили. Воровать, мол, не хорошо. А ведь они знали, что у неё дети от голода умирают. Бабушка прибежала домой вся в слезах, её опозорили, выставили воровкой.

Я потом много лет думал о том, что это были за люди – председатель сельсовета и его жена? Оставалось ли в них хоть что-то человеческое? Это были классические представители советской власти – высокомерные и безжалостные. Для них ничего не значило то, что рядом умирают от голода дети. А ведь они могли спасти их, хотя бы время от времени

подкармливая. Но чего это ради? Не для того человек пролезал в председатели, чтобы потом подкармливать всякую голытьбу. Эти нелюди – и есть советская власть.

Я не осуждаю этих людей. Осудить человека может только Бог. Я их обвиняю. И перед престолом Божиим я их обвиню. Отец имел право их простить. У меня такого права нет.

Кстати, отец дружил с их сыном, и они за это своего сына очень ругали, дескать, путаешься с этим голодранцем Юркой, наберёшься от него всяких пакостей. Юрка был для них мелким представителем колхозного быдла, ничтожных холопов, жизнь и смерть которых ничего не значит. Если мальчик голодает, значит это плохой мальчик и дружить с ним не следует. Не удивительно, что и отец смотрел на них, как на людей особенных, к которым он и приближаться права не имеет – ведь они же едят до сыта. И дружбой с их сыном очень дорожил.

Как ни странно, их дружба продолжалась ещё много десятилетий после того, как они оба навсегда покинули деревню Марковскую. Жили в разных городах, но переписывались и каждый год встречались. Друг отца вышел в люди, стал прокурором, но потом как-то разом всё потерял – и прокурорские петлицы, и семью. Жизнь свою закончил, если не ошибаюсь, оператором газовой котельной. По простому говоря – кочегаром. Он не состоялся, как личность. Отец вышел на пенсию, как заслуженный профессионал, всеми уважаемый на своём предприятии. Он состоялся.

Кстати, в 70-е годы тот председатель сельсовета с женой тоже перебрались в Вологду и жили на одной лестничной площадке с сестрой отца, которая для меня была тётей Тоней. И с отцом они время от времени виделись. Не знаю, как отец к ним тогда относился. Может он их за всё простил, а может и не чувствовал необходимости прощать, наоборот, радовался тому, что его простили за то, что он когда-то голодал. Может, он был рад тому, что сумел встать на ноги и теперь эти особенные люди, которые никогда не голодали, разговаривают с ним на равных.

Однажды председатель пригласил отца на свой юбилей. Я тогда был подростком. Отец в шутку спросил меня:

– Серёга, мы на юбилей идём, как думаешь, что подарить?

– А сколько лет юбиляру?

– 70.

– Тогда подарите ему могильный венок.

Отец так жизнерадостно и долго смеялся моей шутке, что я даже удивился. Потом он ещё несколько раз вспоминал эту шутку и каждый раз смеялся. А я тогда ничего не знал про человека, к которому родители пойдут на юбилей, с моей стороны это был просто чёрный подростковый юмор. Но для отца в моей шутке, видимо, был свой смысл. Он ничего не забыл. Он был, конечно, рад тому, что вот эти люди, которые думали, что из Юрки ничего путного не вырастет, теперь приглашали его за свой стол, как уважаемого человека. Но он всё помнил.

Про ужасы крепостного права у нас до сих пор знают больше, чем про кошмары изуверского колхозного рабства. Если в деревнях люди подыхали от голода, вкальвая от зари до зари фактически бесплатно, так они разумеется разбежались бы по городам, где никакого голода не было, но колхозники были лишены такой возможности. У них не было даже паспортов, они не могли сбежать. И вот отец, закончив 8 классов, решил всё-таки податься в город вопреки всему и не смотря ни на что. К сожалению, я забыл подробности того, как они с мамой выправляли все необходимые для этого справки, помню только, что это было нечто невообразимое и на первый взгляд совершенно невозможное. Несколько раз подряд им должно было крупно повезти, на что трудно было надеяться. Но повезло. Господь благословил.

Он поступил в ремесленное училище, что по тем временам считалось немалой честью. В училище было 3 отделения: столяры, плотники, бондари. Столяры считались элитой, учиться на бондаря было наименее почётно. Отца приняли на плотника. И он закончил училище с 5-м разрядом. У плотников всего было 6 разрядов. Имеющие 6-й разряд – это виртуозы ремесла. Почти все выпускники училища получили 3-й разряд, лишь несколько человек – 4-й. Отцу, единственному из выпускников, дали 5-й разряд. Этот факт из

биографии отца всегда приводил меня в восхищение.

Кстати, на топор я с детских лет смотрел, как на оружие чести. Помню, отец рассказывал, как в общаге училища процветала дедовщина – после отбоя в комнату приходили парни со старших курсов, у всех всё отбирала, недовольных – били. Однажды они рассказали об этом мастеру, а мастер только усмехнулся: «Первый раз слышу, что плотников обижают. Ведь плотники – ребята с топорами». Парни всё поняли, после работы они не сдали топоры, как положено, а взяли к себе в комнату, положив под матрасы. Когда после отбоя к ним опять пришли их обидчики, десять пацанов вскочили на ноги, выхватив топоры. «Деды» ретировались и больше не приходили.

А сейчас вот вспомнил случай из своего детства. Когда мне было 12 лет, родители «взяли дачу», то есть 4 сотки болотины без плодородного слоя. Землю мы с отцом наносили на носилках из ближайшего леса. Потом стали делать забор, для которого нужны были жерди. Отец тем временем строил дом, и ему было не до того, чтобы заниматься вырубкой жердей, это он доверял мне. И вот я ходил в лес с топором рубить жерди. А в лесу уже тоже кое-какие участки нарезали, к ним я, конечно, не подходил, рубя только бесхозный лес. Но владельцы одного из участков услышали стук топора и подумали, что это их лес рубят. И вот тащу я две жердины, а навстречу мне – два крепких сорокалетних мужика, а мне было тогда лет 14. Мужики, ни в чём не пыта-

сь разобраться, по всякому меня обматерили, один из них, приближаясь ко мне уже злобно крикнул: «Я те щас задам». А я перекинул топор с руки на руку и очень холодно ему сказал: «Попробуй». Мужик встал на месте, как вкопанный. Он так и не решился ко мне приблизиться. А я тем временем получил возможность объяснить им, что не приближался к их участкам. Когда я пересказал отцу эту ситуацию, он удовлетворённо хмыкнул.

Но это я отвлёкся, а отец тогда недолго проработал плотником, почему-то решив сменить дерево на железо, и устроился на речной флот. Ему было 19 лет, когда он работал рулевым-мотористом на «Ангаре». Однажды он почувствовал в области желудка сильную боль. Боль была такой страшной, что он катался по палубе, обхватив руками живот. А судно тогда подходило к Кириллову. В порт по радиации вызвали «скорую» и оттуда его сразу привезли на операционный стол районной больницы. Это была прободная язва желудка. Оперировали под местным наркозом, отец рассказывал, что он всю операцию с хирургом разговаривал. Во время операции в больнице неожиданно погас свет. Хирург крикнул, чтобы со всей больницы несли керосиновые лампы. Ламп в больнице хватало, потому что свет вырубало часто. Вот так его и штопали при тусклом свете керосиновых коптилок.

Потом хирург сказал отцу, что если бы его привезли в больницу на полчаса позже, операция уже не потребовалась бы, ограничились бы вскрытием. А ведь то, что судно на мо-

мент прободения оказалось так близко к райцентру – чистая случайность, если, конечно, у Бога есть случайности. Тогда на волоске повисла не только жизнь отца, но и моя жизнь тоже – я бы не родился, если бы «Ангара» шла чуть дальше от Кириллова.

После той операции отец прожил ещё сорок лет, и все эти годы он страдал от язвенной болезни желудка, ежегодно ложился в больницу. Под конец жизни огромные язвы в желудке уже почти не заживали. Такую цену он заплатил за послевоенный голод. Ребёнок выжил, питаюсь всякой дрянью, но бесследно такие вещи не проходят. Я в детстве питался не плохо, но у меня язвенная болезнь уже наследственная. И сейчас, когда во время обострения кусок не лезет мне в горло, я вспоминаю тот послевоенный голод, косивший людей задолго до моего рождения. У моего сына язвенная болезнь тоже наследственная, впрочем, у него она протекает мягче, чем у меня.

Отец вышел на пенсию по льготному речному стажу в 55 лет, продолжал работать, но не долго, вскоре свалился с инфарктом и оказался уже на инвалидности, а в 59 лет он умер.

Отец завещал похоронить его рядом с его мамой, и только на его похоронах я впервые обратил внимание на даты жизни бабушки – она тоже умерла в 59 лет, как и он. А его сестра, та самая, которая ещё в детстве работала на лесоповале, умерла в 54 года. К тому времени она уже несколько лет была на инвалидности. Они пережили тот голод, но он всё равно

достал их и убил.

Из рассказов отца о детстве я помню ещё 2 случая. Однажды ему доверили пасти стадо колхозных свиней. И вот ему понравилось ездить верхом на самом здоровом и упитанном хряке. Голодавший ребёнок весил, как пушинка, а хряк, питавшийся куда лучше этого ребёнка, был здоров и упитан. Но потом ему крепко досталось от мамы, когда она об этом узнала. Она объяснила ему чуть не со слезами: «Юра, если бы ты сломал спину колхозному хряку, нам бы век не расчитаться».

Отец говорил, что мама воспитывала его в основном ко-ромыслом поперёк спины. Несчастной вдове солдата, оставшейся с четырьмя детьми на руках, было не до педагогических тонкостей. Впрочем, она была добрым мягким человеком, и отец её очень любил. Он говорил: «Когда мама умерла, я две недели в себя придти не мог».

И ещё был случай в его детстве. Они с товарищем заметили, что в заброшенный дом на краю деревни постоянно залетают и вылетают дикие пчёлы. Решили, что пчёлы устроили там улей, то есть можно полакомиться мёдом. А ведь они сладкого тогда вообще не ели, о существовании сахара знали лишь по наслышке, то есть мёд для них был куда соблазнительнее, чем был бы сейчас для нас. Однако, было страшно,

они понимали, что пчёлы без боя мёд не отдадут. Всё-таки они решились: накинули рубахи на головы и ринулись в дом. Пчёлы их сильно покусали, но они вернулись с великолепным трофеем – большим восковым комком, внутри которого был мёд. Так Бог спасал голодных мальчишек, время от времени подбрасывая им то, что могло поддержать организм.

Отец говорил, что выжил только потому, что был самым младшим, его жалели и старались подкармливать. Если у них было что-нибудь такое, что делить не имело смысла, морковка какая-нибудь, это отдавали ему.

Когда отец уже работал на флоте, он поступил в 9-й класс вечерней школы, как это тогда называли – школа рабочей молодёжи. Учились, видимо, в холодное время года, когда не было навигации, и они работали на заводе. Смена заканчивалась в 17 часов, а в 18 – начинались занятия и шли до 21 часа. Такой режим обучения всегда казался мне подвигом и я искренне недоумевал – неужели человек может выдерживать такой режим в течение двух лет? Причём, прогуливать много не приходилось, потому что знания спрашивали очень серьёзно и троек просто так не ставили.

Когда я учился в старших классах обычной школы, мы знали, что тройку по любому предмету поставят просто так, работать надо было только для того, чтобы получить оцен-

ки выше тройки. А когда сам работал учителем в деревне и некоторое время вёл занятия в вечерней школе, это уже было откровенное глумление над здравым смыслом. Парни могли ходить на занятия, а могли и не ходить, это не имело никакого значения. Они приходили в школу лишь иногда, от скуки, что-либо узнать вообще не пытались, и что-либо спрашивать с них никому в голову не приходило. Они только числились в школе, и аттестаты им выдавали просто так.

Тогда, в начале 60-х, ученика, который не показывал по всем предметам удовлетворительных знаний, просто отчисляли из школы, и отец занимался по-настоящему. В его аттестате половина оценок – четвёрки. Особенно меня заворожала его четвёрка по тригонометрии. Я сей премудрости не превозмог и синуса от тангенса не отличал, сколько со мной не бились.

Я считаю, что отец совершил подвиг, вырвавшись из такой дикой среды, которую нам сейчас и представить невозможно. Сын матери, которая даже читать не умела, он превозмог все трудности и получил нормальное по тем временам образование. Он стал культурным человеком, любил читать художественную литературу, и это позволило мне дальше продвигаться по путям книжной мудрости. В области гуманитарной культуры я довольно быстро обогнал отца, и он по этому поводу немного комплексовал, но ведь я смог достичь своего уровня только благодаря его суперпрыжку из дикости в цивилизацию.

Когда он уже сошёл на берег и работал простым слесарем на судоремонтном заводе, его считали очень хорошим профессионалом. В этом деле есть очень узкая специализация – дефектовка. Это измерение бесчисленного количества зазоров в дизеле, которые составляют сотые доли миллиметра. Для этого требуются сложные приборы, но простого знания о том, как они приборы работают, оказывается недостаточно, там необходимо какое-то особого рода чутьё, которое мало у кого есть. Дефектовщик на заводе был только один, он не мог никого обучить своему делу – ни у кого не получалось. Отец пошёл к нему в обучение и овладел этой премудростью. Вскоре он уже был единственным дефектовщиком на заводе.

У него было множество приборов, под которые ему выделили особый кабинет. Иногда коллеги шутили в его адрес: «Слесарь с личным кабинетом». Он был первым, лучшим. Стремился ли он к этому когда-нибудь? Думаю, что нет. Он всего лишь был самим собой.

Мы с отцом были довольно разными людьми, и я только со годами начал понимать, как много во мне от него, как много он мне дал. Помню, он говорил: «Знаешь, Серёга, как в жизни бывает? Одни делают ремонт, а другие стоят за спиной и ключи подают. Так вот я ключи никогда не подавал, мне их подавали».

Потом, когда я стал журналистом, он любил слушать мои рассказы о работе. Как-то я рассказывал ему про одну тему, которую мне удалось раскопать. Он говорит: «Серёж, ты бы

не лез в это дело, а то неприятностей не оберёшься». Я ему ответил: «Папа, я никогда не стоял за спиной у других и ключей не подавал». Он молча улыбнулся и кивнул.

В журналистике я сделал по тем временам карьеру головокружительную – за 6 лет прошёл путь от корреспондента районной газеты до заместителя главного редактора крупнейшей областной газеты. Отца моя карьера восхищала, и я был очень рад тому, что мне удалось стать профессионалом в своём деле, так же, как и ему в своём. Были направления, в которых я был первым, лучшим. Стремился ли я когда-нибудь к тому, чтобы быть первым? Нет, никогда. Но я всегда хотел реализовать себя по максимуму. Это во мне от отца.

Отец читал всё, что я писал. Иногда мои статьи его восхищали. Помню, мама рассказывала: «Отец прочитал твою статью и просто воскликнул: «Ну Серёга даёт!»». А иногда ему не нравились мои статьи, и он устраивал мне суровые нахлобучки: «Так нельзя».

И вот сейчас я подумал о том, что отцу, наверное, не понравилось бы, то что я о нём написал. Папа, прости если что не так.

Через год после смерти отца, в 1999 году, я написал небольшую повесть о своём детстве, которое прошло на реке. С тех пор прошло 15 лет, но я приведу здесь эту повесть, не изменив ни одного слова.

Мы плывём на самоходке

Флагман

Я вырос на палубе речного сухогруза и в первый свой рейс ушёл, имея 10 месяцев отроду, о чём в последующие годы очень любил говорить. Отец был штурманом на «Ангаре», мама также плавала несколько навигаций поваром, ну и я вместе с ними. Но «Ангару», я откровенно говоря, совершенно не помню. Кстати, её давно разрезали на металлолом. Суда уходят, а памяти нет.

Зато в мельчайших деталях помню следующее судно, на котором плавал, «Лену». Ласковое имя нашей самоходки никак не было связано со слабым полом, просто крупные сухогрузы в Сухонском пароходстве называли именами сибирских рек. Позднее «Лену» переименовали в «Капитана Язенова» и моё детство как будто от меня отрезали. Названия вообще опасно менять. Начинается беспорядок в головах.

Впрочем, что названия... «Лена» уже много лет стоит заваренная в затоне. Нет теперь нужды в этом по-прежнему крепком и могучем судне. "Ангару" разрезали, потому что она своё отслужила, старушка умерла, можно сказать, естественной смертью. А «Лену» бросили, потому что жизнь пошла другая. Ниточкам памяти свойственно истлевать и ло-

паться. Хуже, когда по этим ниточкам ножом.

Помню дословно первые слова стародавней публикации в «Речнике Сухоны»: «Всего несколько шагов по трапу и мы на флагмане Сухонского пароходств теплоходе «Лена». Публикация была посвящена моему отцу, с фотографией: китель с нашивками, фуражка-мичманка... Механик флагмана.

Отца больше нет со мной.«Лена» тихо умирает в затоне, словно на больничной койке. Но для меня живы и отец и «Лена». Иногда мне даже кажется, что всё ещё плыву по Сухоне на «Лене». Всё ещё 1970 год. А здесь, в самом конце 20 века, в годы смерти, суетится совершенно другой человек, К тому мальчику не вернёшься, но нам уже довольно жить с ним врозь. Я хочу найти его и пригласить к себе, на грань столетий.

Его похоронили в море

Самое сильное впечатление моих детских речных будней немного грустное, хотя и светлое по-своему. Вечером мы сидим с отцом в кают-компании, проще говоря, это столовая, самое большое помещение на судне, хотя не больше маленькой комнаты моей городской квартиры. Отец играет на гармошке и поёт «Раскинулось море широко». А на меня эта песня всегда производила сильное, пронзительное впечатление.

Я не очень вообще-то понимал, что там происходило, на непонятном морском корабле. Заболел человек, а ему говорят: «Механик тобой не доволен». Почему такая несправедливость? Мой папа тоже механик, но он так не поступает. Потом в песне шли зловещие и таинственные слова: «К ногам привязали ему колосник, простынкую труп обернули». На мои расспросы отец лаконично ответил: «Его похоронили в море». Эти отцовские слова странным образом много раз вспоминались в течение долгих лет. Запомнится же...

И вот мы хороним отца. Апрель, кругом всё залито, когда копали могилу, постоянно приходилось отчерпывать воду, но она тут же снова набиралась. Я подумал: «У него вся жизнь была с водой связана, в воду и провожаем...»

Это спустя десятилетия, а тогда в кают-компании... Отец заканчивает песню так, что кажется, гармошка разорвётся от

тоски: «А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает». Я не выдерживаю, у меня слёзы в три ручья. Опускаю голову, чтобы папа не заметил, но понимаю, что это не поможет, и тогда я лезу под стол, – только чтобы папа не увидел слёз. Он бережно и тревожно спрашивает: «Серёжа, что с тобой?» Я молчу. Отец не сразу понимает, что это из-за песни, всего лишь из-за песни, он тоже молчит, но я чувствую, что он уже всё понял. Я медленно влезаю из-под стола (стол прикручен к полу металлическими уголками на шурупах, это я успел хорошенько рассмотреть). Слёзы добросовестно размазаны по щекам и уже подсыхают. У меня просветление. Ну, песня и песня. А мы плывем на самоходке по мирной реке. Мой папа механик и никого не обижает. Все живы. Смерти нет.

От винта за кормой

А волны бегут от винта за кормой... Тут всё-таки была для меня не просто песня. Я мог часами стоять на корме, уставившись в белые клокочущие буруны из-под винта. Они завораживали, гипнотизировали, целиком поглощая неустойчивое детское внимание. Это было истинное чудо. Кристально-белая пена в какие-то секунды рождалась из тихой мутной поверхности реки.

Чудо-буруны были удивительно близки и вместе с тем совершенно недостижимы. Если руку протянуть, до них оставалось не больше метра, но... этот метр отделял жизнь от смерти. Я хорошо это знал. Там, под белой пеной – огромные острые винты в цилиндрических насадках, они вращаются со страшной силой, они неумолимы. Если я упаду в белые буруны, винтами меня изрубят на куски. Ребёнка, бытие которого на грузовом судне столь проблематично, взрослые, конечно же, постоянно предупреждали о таких вещах. Мальчик становился серьёзным и даже суровым. Кругом безжалостная вода и неумолимый металл. Один шаг в сторону – и неминуемая гибель.

И всё-таки страшных винтов не видно, о них можно забыть, а белая пена так манит к себе, так влечёт. Однажды я стырил в форпике огромный гвоздь, кажется двухсотку, и бросил в пену, как будто от этого должно было что-то про-

изойти. Ничего не произошло, я был немного разочарован. Мне, видно, очень хотелось вступить с этой пеной в диалог, послать весточку, а никакого другого способа не просматривалось.

Теперь я понял, в чём была гипнотическая сила бурунов. Они часами оставались всё такими же и всё-таки каждую секунду обновлялись, становились другими. Эта движущаяся неподвижность – некий символ вечности. Как же тут было не трепетать чувствительной душе ребёнка.

Чайки

На нескольких квадратных метрах кормы проходили детские дни, недели, месяцы. И никогда не было скучно. Вот уж, кажется, в чём тайна: почему ребёнок, совершенно лишённый обычных детских развлечений, никогда не скучал?

Впрочем, развлечений не сказать, чтобы вовсе не было. Однажды, наше судно стояло в порту, который ничем не запомнился, кроме чаек. Я наблюдал за ними с кормы. Чайки время от времени склёвывали рыбу с поверхности воды, чаек было много, а рыбы, судя по всему не разбежишься. Мне были радостны эти романтические птицы, белые, как буруны за кормой и совершенно свои. Глядя на них, я думал немного свысока: «Это у вас на земле паршивые чёрные вороны, а у нас на воде чудесные белые чайки». Я любил чаек, а они не обращали на меня никакого внимания. Я для этих белокрылых созданий просто не существовал, хотя и рассматривал их в упор, и они тоже должны были меня видеть. Как «познакомиться» с ними?

Я побежал в каюту, к шкафчику, где хранились кое-какие лакомства, и вскоре вернулся на корму с большим пакетом сухого печенья. Разламывая одну печенюшку за другой, я бросал кусочки в воду, и вскоре создал средиводного птичьего царства настоящий ажиотаж. Белые птицы позабыли про рыбу, устремляясь к даровому угощению. Радости моей

не было предела – мы с чайками вместе, мы заняты общим делом! Не всё же гвозди в буруны бросать, там никакого отклика не получается, а здесь – полный контакт!

Сухое печенье в те годы было невероятно дефицитным, а я вышвырнул его за борт не меньше полкило. Родители были, мягко говоря, обескуражены этим «аттракционом неслыханной щедрости», но я не помню, чтобы меня сильно ругали.

Дети кормят «братьев наших меньших» чаще всего не потому, что жалеют их свысока. Когда человек кого-то «жалует», когда подаёт милостыню, в душе часто роятся нехорошие мысли: «У меня есть, а тебя нет, значит, я выше тебя, захочу, и голодным останешься, но я сегодня добрый и ты будешь сыт». Дети же, напротив, часто смотрят на бессловесных тварей с низу вверх, как на высших существ. Все кругом стараются ребёнка ублажать, все вокруг него вертятся, а звери и птицы не замечают маленького человека. Человеку обидно: «Им нет до меня дела». Он бросает птицам еду, для того, чтобы с ними подружиться, пообщаться. Он просит внимания к себе, как милостыни, он не чувствует себя дающей стороной.

Мячик

Наша самоходка шла Кубенским озером, кажется, был уже вечер или, во всяком случае, пасмурно. Я играл на любимой корме надувным мячиком. Мячик был замечательный: большой, из белых и бирюзовых долек. В те годы такой мячик было очень трудно купить. Эта игрушка составляла радость многих моих дней.

Тем более было сущим безумием играть мячиком на корме. Фальшборт не выше метра, судно на ходу, значит ветер, а надувная игрушка легка, как пушинка. В скором времени мячик естественным образом полетел за борт. Подпрыгнув на белых бурунах, он в какие-то секунды превратился в точку и растаял на озёрных просторах. Часто ли у детей бывают потери столь мгновенные, столь абсолютные и столь безвозвратные? Душа наполнилась пронзительной тоской, я стоял на корме в полном оцепенении и кое-как одолев первый приступ горя, поплёлся к отцу в рубку. Тогда была его вахта. Я шёл каяться, ожидая нагоняя за «халатное обращение с имуществом, повлекшее его утрату».

Но отец отреагировал самым неожиданным для меня образом. Он сочувственно и с сожалением сказал: «Серёжа, так что же ты сразу ко мне не пришёл, я бы судно развернул, достали бы мячик». Отец не ругал меня, он разделил моё детское горе.

Много лет спустя, я спрашивал себя: «Неужели ради детского мячика отец тогда действительно развернул бы эту громадину в сотни тонн, с десятком человек на борту, с важным грузом, который множество людей ожидают в порту?» Я почувствовал всей душой: отец действительно развернул бы судно. Видимо, так и надо жить: ради того, чтобы осушить одну единственную детскую слезу, стоит на время забросить самые серьёзные взрослые дела. Кому нужны эти тонно-километры, если ребёнок плачет?

Котёнок Матрос

А ведь был один такой случай. Из-за детской забавы пришол в движение всёсудно, вся команда.

Жил у нас в каюте котёнок по кличке Матрос. Маленький, чёрно-белый. Из его корабельного бытия я почти ничего не помню, и этот случай, пожалуй, единственный, отчётливо врезавшийся в память.

«Лена» покидала Белозерский порт, уже отдали швартовы, вся команда была в сборе, а проверять наличие Матроса никому и в голову не пришло, даже мне. Но когда судно отошло от пирса уже на приличное расстояние, кто-то заметил, что наш котёнок беспомощно болтается па волнах. Он остался на берегу, и его бросили в воду чьи-то не добрые руки.

Я уже мысленно простился с любимым котёнком, но наш капитан, человек очень серьёзный и строгий, отреагировал на матросово горе совершенно неожиданным образом. На невозмутимом лице этого бывалого человека появилась

слегка заметная улыбка, он взял рупор и громко скомандовал: «Учебная тревога, человек за бортом». Эти слова не требовали ни каких пояснений, каждый член команды до деталей знал свою роль после объявления тревоги. На воду мгновенно спустили шлюпку, и котёнок Матрос был спасён. Котёнок, в учебных целях временно объявленный человеком.

Помню, как он дрожал уже в каюте, завёрнутый в одеяло. Для меня это было настоящее событие: судовая жизнь, такая взрослая, серьёзная и не очень даже понятная, на полчаса вышла из колеи ради маленького пушистого жильца моего несерьёзнодетского мира. Взрослые тоже были радостными, веселыми, наверное, потому что игра позволила на время забыть о тонно-километрах, стряхнуть груз будничных забот. Хотя отец сказал просто: «Учебную тревогу всё равно пришлось бы проводить».

Импортный корабль

Явспоминаю 1970 год: однообразный и убогий ассортимент магазинов, товары в тусклых блёклых упаковках – всё кругом серо и посредственно.

Почему в те годы так гонялись за импортом? Душа праздника просила. А «Лена», германская самоходка, была именно таким праздником.

Импортное от киля до клотика, нашесудно было отделано добротно, красиво, с некоторой даже изысканностью. Больше всего запомнилась рыбка из цветного стекла на дверях в каюткаманию. Попробуйте понять этих немцев: сухогруз, грубые хозяйственные задачи, и вдруг, посреди судна ярких витраж – синие, жёлтые, красные стёклышки, просвечивая, игриво бликуют.

Всё кругом: и стены в надстройке, обтянутые благородным дерматином, и двери, кажется из цельных деревянных массивов, производило впечатление иного мира. Иного по отношению к берегу, иного по отношению к тусклым будням царства уравниловки. В нашей каюте самым невероятным сооружением была кровать: закрытая с трёх сторон перегородками, с четвёртой стороны она полностью задерживалась занавеской. А в изголовье – бра, у которого можно было регулировать силу освещения. Подобной диковины по тем временам я ни где более не имел возможности обнаружить. А

наличие в гальюне ароматизатора воздуха было тем более не типично для пролетарских будней той поры.

Флотской порядок

Впрочем, сейчас, силясь вспомнить все эти импортные изыски, я с удивлением заметил, что детали внешнего оформления в памяти почти не сохранились. Память почему-то решила ограничиться общим впечатлением от «превосходного германского качества». Зато по коридорам судовой надстройки я, кажется, и сейчас прошёлся бы с закрытыми глазами, ни разу не запнувшись.

Я ничего не забыл. И не мог забыть. Этот микромир – образец идеально организованного пространства, где на минимальных площадях и объёмах надлежало разместить максимальное количество потребностей. Например, наша каюта. Кровать-полуторка, продуктовый и платяной шкафы, маленький кожаный диванчик, столик под иллюминатором. В «береговых условиях» такое количество мебели занимает чаще всего площадь в 2-3 раза большую,

На берегу пространство почему-то не берегут – его вроде бы много, по на самом деле даже то, чего очень много, никогда не должно пропадать впустую. Мы не бережём пространство, потом перестаём ценить время и в результате жизнь уходит сквозь пальцы, а на судне во всём царит порядок и разум. И во времени, и в пространстве.

Кстати, насчёт времени. Я не раз присутствовал в рубке при передаче вахты. Отношения среди команды казались

мне очень простыми, поэтому по началу удивляли строгие уставные фразы: «Вахту сдал» – «Вахту принял», а потом эти слова начали даже ласкать детское ухо, как и всегда нормальной человеческой душе приятен простой и разумный порядок.

Ведь вахтенные начальники, сменяя друг друга, некоторое время находятся в рубке одновременно, и часы у них на пару минут могут расходиться, а если именно в эти две минуты «прямо по курсу» или «слева по борту» случилось нечто экстремальное, кто из них отвечает за ситуацию, кто должен реагировать на обстоятельства, которые порой не ждут и двух секунд? Простой обмен чёткими фразами: «Вахту сдал» – «Вахту принял» устранял эти вопросы. А у ребёнка, наблюдавшего за такими деталями, в душе рождалось понимание того, как это много – минута, какая это уйма времени.

Почему маленькому мальчику всегда было так хорошо на «Лене», почему и по сей день так стремится моя душа в этот микромир?

Человек – существо гениально организованное. На маленьких «площадях и объёмах» нашего тела и сознания умещается множество немерянных миров. Все мы настолько необъятны и бездонны, что просто не могли бы существовать, не будь внутренне «разложены по полочкам». Каждая клеточка, каждый атом крутятся со своей задачей, несут смысловую нагрузку. В нас нет ничего случайного. Человек

по природе своей совершенно чужд хаоса, неорганизованности, бессмыслицы. Поэтому, попадая в пространство организованное нелогично, хаотично, бессмысленно, мы ощущаем невольный и не всегда осознанный дискомфорт. Хаос – продукт распада, среди хаоса не может быть хорошо. Только когда в человеке начинается внутренний распад, он испытывает среди хаоса некоторую иллюзию кайфа.

Удивительно ли, что маленький человек, ещё совершенно не затронутый распадом, а значит чуждый хаосу, очень хорошо себя чувствовал на пространстве логичном и упорядоченном, где каждый квадратный сантиметр несёт смысловую нагрузку, совершает свою строго определённую работу. Даже красивая рыбка из цветного стекла, создающая ощущение праздника, имела для меня, очевидно, меньше значения, чем рациональные будни, составляющие сердцевину судового существования. А отец всю свою жизнь распространял вокруг себя образцовый флотской порядок, то есть по существу, облегчал жизнь людям, с которыми соприкасался. С отцом было легко, потому что с ним всё было понятно и здраво.

Дизельная колыбельная

Я засыпал в уютной каюте механика на своём маленьком кожаном диванчике. Если судно было на ходу, подомною мерно, монотонно, не очень громко рокотали двигатели. Этот дизельный рокот – моя детская колыбельная. Всё на судне дышало металлической мощностью, неодолимой силой, всё было настолько основательным и надёжным, что простая детская душа пребывала в постоянном покое, ощущая свою абсолютную защищённость.

Утром я просыпаюсь, подомной всё тот же шум машин, а отца в каюте уже нет – у него вахта с 8 утра. Быстро одеваюсь и бегу в рубку, отец стоит у штурвала, улыбается, увидев меня, на несколько мгновений отводит глаза от реки. Я очень любил смотреть на отца у штурвала: серьёзное, сосредоточенное лицо, твёрдые руки, лёгкого движения которых мгновенно слушается вся эта громадина.

Стальное тело

На «Лене» был не только штурвал, но и три большие разноцветные кнопки. Одна – «налево», другая – «направо», а если нажать на одну из них вместе со средней – движение в несколько раз ускоряется.

Однажды, когда мы шли озером, отец минут на пять усадил меня за кнопки и доверил судно – до берега далеко, любой мой огрех он мог быстро исправить. В жизни никогда потом мне не доводилось испытывать подобных ощущений. Управлял грузовиком, но это было не то. Масштаб другой.

Когда управляешь большим судном, твоя воля сливается с волей этой громадины. Огромное судно не просто слушается тебя, оно становится тобою, то есть чувствуешь себя огромным. Когда, например, шевелишь пальцами, им не приказываешь, потому что это ты сам. Так же и тут: ты становишься мозгом судна, а судно становится твоим телом. Кому бы не хотелось почувствовать себя в огромном, стальном, могучем теле?

Машинное отделение

Мой отец – хозяин машинного отделения, и я спускался сюда довольно часто. В машинном отделении стоят два огромных двигателя и два не очень больших. Это вспомогачи. Отец научил меня заводить вспомогач, я учился старательно, но... относительно машинного отделения у меня всегда была своя маленькая тайна, мне здесь никогда не нравилось.

Вот я нажал красную кнопку, потянул за ручку, подождал, как положено, некоторое время и повернул, что надо – вспомогач, только что безмолвный, послушно урчит. Отец мной доволен, у меня всё получилось. Я тоже радуюсь его радостью, мне приятно, что я у него не такой уж бестолковый.

Но собственного, личную удовольствия от возни с двигателем я никогда не получал. Механизмы почему-то меня не привлекали, весь дизайн машинного отделения слегка отталкивал и немного даже страшил.

Когда судно на ходу, здесь стоит ужасный грохот, человек может что-то говорить, а кажется, что он лишь беззвучно шевелит губами, при необходимости приходится кричать в самое ухо. Повсюду здесь следы солярки, мазута, масел. Когда отец возится с машинами, в промасленной спецовке, он часто чумазый. Я почтительно отношусь к этим его занятиям: «сколько болтиков, сколько винтиков, всё-то надо знать». Но

это лишь почтение. А искреннее, неподдельное восхищение он вызывает у меня в рубке во время вахты, когда стоит у штурвала в отутюженных брюках и чистой рубашке.

Однажды отец спросил меня: «А тебе какая команда больше нравится: верхняя или нижняя?» Я почувствовал себя крайне неловко, как не ответишь, всё будет плохо. Если отдам предпочтение нижней команде, покривлю душой, и отец обязательно это заметит. Если скажу, что больше нравится верхняя – обижу отца, как бы выражу неуважение к его работе. Ребёнок не дипломат, он не умеет исхитриться так, что бы «и вашим и нашим». Я растерялся и, насупившись, молчал. И добился лишь того, чего хотел избежать, то есть обидел отца. Он ледяным тоном подвёл черту: «Нехочешь разговаривать – не надо». Мне стало больно.

В пору ранней молодости, как это чаще всего и бывает, я доставлял отцу не мало огорчений. Но всё это сгладилось, отошло, когда я повзрослел, и сам себя я уже не судил за прощённые мне грехи и даже не вспоминал о них. Но вот эта мелочь, пустяковина, как я обидел отца своим молчанием, не ответив на его вопрос, почему-то и донныне беспокоит душу. За это я даже не мог прощения попросить, потому что через пару десятилетий отец был бы крайне удивлён, чего ради я вспомнил о такой ерунде. А сейчас мне хочется через годы закричать: «Папа, я тогда молчал потому, что не хотел тебя обидеть. Не было другой причины».

Кампания кают

Ребёнок месяц за месяцем проводит в компании людей намного старше его. Ребёнок и не вспоминает уже о том, что где-то там, на берегу, есть ещё много таких же, как он маленьких мальчиков. Да и взрослые на судне не домашние. Здесь все и всегда при заботах. Даже сменившись с вахты, речник остаётся на своём рабочем месте, в сопровождении недорешенных вопросов. Общаясь с ребёнком прямо на работе, взрослые поневоле делают его таким же озабоченным, немного взрослым. А мальчишке любо, он и не тоскует по сверстникам. Мальчишка думает просебя: «Мы тут, ядрёна корень, с коленвалом не знаем что делать, а у кого-то одни свистульки на уме».

Взрослые относились ко мне на удивление внимательно, я ощущал себя, чуть ли не полноправным членом команды. Наш старпом был мужик с юмором, острый на язык, любил и со мной пошутить. Больше всего запомнились его фантастические фокусы. Он, например, говорил мне; «Серёга, вон в том шкафчике ничего нет», и Серёга верил, не проверяя. «А теперь, – продолжал старпом, – подойди и загляни в него, там батон лежит». Обнаружив в шкафчике батон, я приходил в крайнюю степень изумления и восторга. И как это у дяди Толи получилось, ведь минуту назад шкафчик был пустой... Ещё старпом лихо глотал большой палец правой ру-

ки, просто душа холодела. Палец, правда, через минуту снова отрастал, но, кажется, и впрямь был уже не такой. Помню, как дядя Толя лепил мне из пластилина разные ордена и медали, подробно объясняя за какие подвиги какой награды можно удостоиться. На берегу взрослые редко уделяют столько внимания чужим детям, на берегу – свои под боком, да и на них не всегда времени не хватает. А тут – сменился с вахты, в каюте один, почему бы и не поиграть с сынишкой механика.

Куда удивительнее было внимание ко мне рулевых-мотористов и матросов. Они учились в речной пэтэухе или едва закончили её, имея от роду нет 16-17, и очень редко бывали после армии. Молодёжь, не столь давно простившаяся с детством, чаще всего, бывает высокомерна по отношению к детям, у них ещё не отпала потребность утверждать собственную взрослость. Это окончательно проходит, когда появляются собственные дети. И всё-таки неженатые «ребята», как я их называл, были ко мне довольно внимательны.

Я говорил отцу: «Я пошёл к ребятам», и направлялся в четырехместную каюту, где мне, кажется, всегда были рады. Здесь можно было посмеяться, повалить дурака, здесь весело было всегда, иногда становилось настолько весело, что старпом, отдохавший после вахты (его каюта была соседней) стучал нам в стенку, чтобы мы, наконец, утихли. За несколько навигаций черед сменявшихся ребят промелькнула, как в калейдоскопе, а больше всех запомнился Валера.

Валера

Валера очень любил море. Он поступал в мореходное училище и, провалившись, пошёл работать на речной флот. Помню, как он говорил мне, мастерившему кораблики: «У парусного судна обводы корпуса плавные, скользящие», – и при этом сладко улыбался. Даже о девушке трудно было бы говорить нежнее и любовнее. В моём лице Валера имел благодарнослушателя. Ни у кого из старших или ровесников его «морские рассказы», конечно, не встречали таких сияющих радостью глаз, как у меня.

Самым ярким впечатлением от общения с ним были наши посиделки на тенте рядом со шлюпкой, когда он пересказывал романы Александра Грина. Как это было замечательно: вечер, шлюпка, река и серьёзный взрослый парень рассказывает мне завораживающую фантастику.

Ещё мы часто ходили с ним «на берег» в разных портах, отец доверял этому матросу и отпускал меня с ним. Валера никогда не говорил со мною с высоко, мы общались словно ровесники, но он не вставал передо мною «на корточки», напротив, мне начинало казаться, что я семнадцатилетний. Вот и вся педагогика, больше ничего и не надо: дай семилетнему ребёнку почувствовать, что ему на десять лет больше и можешь, не напрягаясь, вести его куда захочешь. К счастью, этот молодой матрос вёл меня только в сияющий мир Алек-

сандра Грина и в мир своей красивой мечты о мореходке.

Снежный рейс

«Лена» колола носом лёд. Всё судно было в снегу. Мы шли Кубенским озером, возвращаясь в Вологду. Дело было поздней осенью, уже ударили морозы. За нами в кильватере – ещё одна самоходка, не помню её названия. Продовольствие на судне таяло быстрее, чем снег на палубе.

Я гуляю по заснеженному металлу. Мне не холодно и не голодно, не скучно и не тоскливо. Мне здорово. Прямо на судне можно в снежки поиграть. Вдруг я вижу на бочке маленького снеговика – он из трёх шариков, как положено, очень забавный и шапочка на нём из каких-то чёрных ниток. Первая мысль: не может быть, чтобы снеговики падали с неба вместе со снегом. Я уже не маленький, я знаю, так не бывает. Значит... Ну, точно! Это мама! Она решила сделать мне сюрприз. Я бегу к маме и, запыхавшись, радостно спрашиваю у неё: «Мама, это ты сделала снеговика, да?» Мама улыбается.

Помню, как в гости к нам пришёл капитан с другой самоходки. Он протянул мне бумажный кулёк и сказал: «Передай маме гостинец». А моя мама работала поваром на «Лене». Я обрадовался, надеясь обнаружить в кульке как минимум конфеты, уж очень сладко звучало слово «гостинец». Но меня постигло жестокое разочарование, в кульке оказалась обыкновенная поваренная соль. Для мамы и правда не было

подарка лучше этого: попробуй приготовить еду на всю команду, если соль кончится. Но мне-то что за радость? И вообще я не люблю солёного. Это отец всё солит так, что есть невозможно.

Попугайчик

Чужой капитан пьёт в рубке чай. Он интересный, этот капитан пришёл, со своим стаканом в подстаканнике. И ложечка у него была своя, и понятно, почему со своей пришёл – у нас на «Лене» такой нет, это точно. Ах, что это была за ложечка – с разноцветным эмалевым попугайчиком вместо ручки. Такая ложечка – вот это был бы мне гостинец, а не кулёк соли.

Много лет я хотел иметь ложечку с разноцветным попугайчиком, и сейчас, подходя в магазине к прилавку, я невольно смотрю на ложки, нет ли того «попугайчика». Спустя три десятка лет, я спокойно отдал бы за «попугайчика» чайный сервиз. Сервиз... Я отдал бы полжизни за то чтобы вновь ощутить пронзительную романтику снежного рейса. Но сегодня поздно. Я никогда уже не смогу испытать на заснеженном судне искренней радости, присущей только детям.

Мы храним у себя иные маленькие вещицы. Один взгляд на них пробуждает такие чувства, которые уже не могут возникнуть в нас «просто так». Или мы ищем эти вещицы... ищем себя...

Речной волк

Ребёнку не место на грузовом судне. Меня просто не с кем было оставить на берегу. Я прекрасно знал, что нахожусь на судне «на нелегальном положении». Когда к «Лене» приближался какой-нибудь маленький катер, я бежал в каюту прятаться, не дожидаясь распоряжения взрослых. Вышколен был. На катере могла быть инспекция или даже таинственный и страшный «речной регистр». Последнего я никогда не видел в глаза, но речной регистр для меня был тем же, чем для других детей «бука», «бьяка» и «дяденька милиционер». На судне действительно опасно. В мире воды и механизмов постоянно рискуют и взрослые, но им так положено, а ребёнок...

А ребёнок прекрасно знал систему запретов, которые ему и в голову не приходило нарушить. Например, нельзя было ходить в носовую часть судна. Откровенно говоря, я не видел никакой опасности в том, чтобы пройтись без сопровождения вдоль лееров по метровой полосе палубе. Но я твердо стоял «на букве» своего «детского устава».

И всё-таки возникали совершенно неожиданные ситуации, которые невозможно было предусмотреть ни какими предварительными запретами. Ситуации, ставившие меня на грань смертельной опасности.

«Лена» шла рейсом из Устья-Кубенского в Москву. Вез-

ли большие кипы фанеры. Трюмы стояли открытые. Верхние кипы лежали свободно, не впритык, и между ними образовались причудливые ходы-лабиринты, вполне недостаточные для того, чтобы ребёнку через них пролезть. И я, конечно, часами не выходил из этого городка лабиринтов. Меня там не было видно, и взрослые не всегда знали, где я нахожусь.

Однажды я, никем не замеченный, ползал по своим ходам и услышал, что закрывают крышку трюма. Выскочил наверх – крышка уже летела на меня. Она двигалась по маленьким рельсам на подшипниках: огромная, многотонная. Сдвинуть её с места могли бы только шестеро здоровых мужиков, причём, разогнав эту «броню», они уже сами не могли её остановить, пока огромный стальной массив не ударялся о свою "мертвую точку».

Крышка, летела на меня... В запасе я имел несколько секунд, которых, впрочем, было вполне достаточно, чтобы соскочить на палубу, а трюм был носовой. Но вдруг я увидел, что палуба на носу окрашена. Не мог же я прыгнуть прямо на свежую краску (как будто перспектива быть насмерть раздавленным казалась предпочтительнее). Я растерялся и упустил отпущенные мне судьбой секунды.

В этот момент я услышал очень спокойный и тихий голос отца: «Серёжа, ложись». Так же тихо я лёг на фанеру, крышка с грохотом надо мной пролетела, полностью закрыв трюм. Но в темноте я оставался лишь секунды, крышку тут же откатали обратно, отец бросился ко мне...

Позднее он говорил: «Если бы я громко крикнул, чтобы ты ложился, ты бы мог ещё больше растеряться, оцепенеть и тогда конец». Но сколько выдержки и самообладания потребовалось ему, чтобы спокойным, ровным голосом произнести эти слова, которые должны были спасти жизнь сына. Что пережил он за эти не более чем 20 секунд...

Ещё раз я был на волосок от смерти, когда «Лена» тащила плоты, а я с кем-то из взрослых загорал на брёвнах. В плоту была прорезана прямоугольная дыра, возле которой я вертелся и, не знаю уж, отчего потеряв равновесие, кулькнулся в воду. Судно было на ходу, всплывая в том же месте, где упал я уже должен был иметь над головой плот, потому что дыра должна была за пару секунд сместиться. Но я вынырнул мгновенно, ухватившись руками за край дыры и даже не успев испугаться.

Страшно стало, когда уже обсыхал на плоту. Я не мог понять каким чудом я остался жив. Вероятнее всего, судно шло довольно медленно, к тому же, упав не с размаха, я погрузился не глубоко, а потому и всплыл мгновенно. Ещё был случай, когда «Лена» стояла у пирса в Белозерске, и мы с отцом плавали вдоль борта на огромной надутой камере. Плавать я не умел, но рядом с отцом чувствовал себя настолько защищённым, что потерял страх и расшалился. Мы полетели в воду, а лёгкая надувная камера резко отскочила в сторону.

«За шею держись, руки не трогай», – спокойно скомандовал отец. На себе он «довёз» меня до берега и облегчённо

вздыхнул: «Слава Богу, что ты мне в руки не вцепился, а то бы мы камнем пошли на дно – у испуганною ребёнка хватка мёртвая».

Мне было девять лет, когда всё это стало для меня «прошлым», когда я сошёл «на берег», словно бывалый «речной волк». Для девятилетнего ребёнка иметь богатое событиями прошлое – непозволительная роскошь. Но моё детство сложилось именно так. Непозволительно и роскошно.

Где мой белый пистолет

Игрушек у меня на корабле почти не было. Впрочем, память удержала некоторые драгоценные вещицы, вдвойне драгоценные своей немногочисленностью и втройне тем, что были сделаны руками отца.

Одна из них – деревянный пистолет, стрелявший горохом или маленькими камушками, с аккуратной круглой дыркой в стволе, отшлифованный шкуркой – отец всё делал очень тщательно. Никогда ни у кого из пацанов я не видел подобного. Какой-то это был «особый проект», наверное, из отцовского детства.

Ещё был лук со стрелами ровненькими, тоненькими. Лук лежал и каюте, дожидаясь ближайшей пристани. Из пистолета ещё можно было на корме пострелять, но изображать Робин Гуда на судне мне, конечно, никто не позволял.

А самой драгоценной была маленькая деревянная самоходочка и повозился же с ней отец, имея привычку отделявать каждую мелочь.

Раньше всех накрылся пистолет-гороховик. Сначала у него сломался курок, и отец починил его. Потом лопнула рукоятка (не надо было ею орехи колоть), но отец и на этот раз нашёл способ соединить несоединимое. Однако чрезмерно жесткий режим эксплуатации скоро привёл его в полную и окончательную негодность. Лук, очевидно, был просто за-

брошен, и я ничего не знаю о царевнах-лягушках, подобравших мои стрелы. Что же касается деревянной самоходочки, то я не помню, куда она делась.

Самоходочка была самой бесполезной моей игрушкой. Она требовалась только тогда, когда меня отпускали поплескаться в прибрежных водах, а такое случалось весьма нечасто, далеко не в каждом порту есть возможность купаться. Но драгоценной для меня была сама любовь, с которой отец мастерил игрушку для сына. К тому же самоходочка символизировала нашу с отцом общую любовь к реке, к речным судам. Почему такие вещи исчезают бесследно и беспмятно? Почему сердце щемит от пустяков, словно нет более серьёзных причин для запоздалых сожалений?

Шёл уже, кажется, октябрь, я ходил в школу, проживая у тётушки, и с нетерпением ждал, когда закончится навигация и родители вернутся в Вологду. В ожидании я мастерил для отца маленькую картонную самоходочку, которую усердно раскрасил с двух сторон и закрепил на бумажных ножках, чтобы стояла. Помню, как отец пришёл с рейса. Поужинав, он прилёг на кровать, очень устал. Я подошёл к нему и робко, молча поставил ему на грудь маленькую картонную самоходочку.

Запахи

Очень мне запомнились некоторые корабельные запахи. Иные, казалось, вовсе не за что любить, но я не просто их любил, – они меня завораживали.

В форпике стояли огромные ящики с якорными цепями. Цепи были таковы, что поднять даже одно звено ребёнку, пожалуй, было бы не по силам. Судно вставало на якорь, чугунная рогатина (типа «холла») уходила в таинственную глубину и впивалась в донный грунт. Мне всегда очень хотелось увидеть, как это происходит, как эта нехитрая «холла» так впивается в дно, что способна удержать огромный корабль. И, вообще, какое оно, дно? Оно такое близкое, всегда под нами и всегда невидимо, неисповедимо. Поведение якоря на дне – большая нераскрываемая тайна. И сам якорь даже не потрогать руками, он всегда висит за бортом в своей нише. А цепи с грохотом возвращаются в свои ящики.

Цепи пахнут донным грунтом. Какой-то это невероятный запах – очень обычный, потому что грязь есть грязь, но он меня гипнотизировал. Ямогпо часу, если не мешали, стоять над ящиком с цепями и с наслаждением вдыхать запах дна. Наверное, в организме каких-нибудь веществ недоставало...

А вот чего моему организму недоставало определённо и постоянно, так это сгущёнки. Сие лакомство иногда появлялось в продуктовом ящике нашей каюты. Появлялась чаще,

чем это могло быть на берегу, суда снабжались продовольствием на «плавлавке» куда лучше, чем покупатели в обычных магазинах брежневской поры.

Так вот, сгущёнка... Наш заветный шкафчик ею пропах. Даже если сгущёнки там не было, запах напоминал о её существовании в природе. К этому запаху примешивались ароматы различного печенья, которое у нас было почти всегда, и нехитрых конфет. А иногда, «хитрых», то есть не вполне обычных, если судно шло рейсом из Москвы. Надышавшись рекою, бежал к своему заветному шкафчику, и в нос мне ударял запах, с которым я уже сжился, который в моей памяти неотделим от «Лены».

«Лена» была судном молодым, совсем недавно прибыла со своей исторической родины, из ГДР, поэтому в каптёрке ещё хранились кое-какиерасходные материалы, которыми дружественные немцы укомплектовали судно на дальнюю дорожку в Советский Союз. Больше всего запомнились крупные куски германского мыла, по виду почти такие же, как наше, хозяйственное. Но это только «по виду». Как оно пахло, это мыло! Тонко, изысканно, импортно. Оно пахло «дальним зарубежьем», которое в те годы для нас было гораздо более дальним.

Шлюзы

Самым большим праздником в моей судовой жизни были шлюзы. Особенно Топорня, через которую мы проходили довольно часто. Этот шлюз был милым, тёплым, деревенским. Бревенчатый его сруб напоминал колодец, и даже кнехты стояли деревянные. На берегу песочек, а кругом сосны. Едва «Лена» швартовалась, я сразу же соскакивал на песок. Здесь встречали улыбочивые работницы шлюза, которые нас хорошо знали, здесь можно было поиграть с большой собакой, для которой я старался припасти кусочек сахара. Но самое интересное – здесь не надо было возвращаться на своё судно, когда «Лена» выходила из шлюза.

Дело в том, что в километре был второй шлюз, до которого я бежал по берегу, среди сосен, радостно бросаясь шишками во все стороны. А «Лена» тем временем плыла у меня на виду. Было очень интересно смотреть на свой плывущее судно со стороны, такая возможность появлялась лишь в единственном случае. Когда судно заходило во вторую шлюзовую клетку, я благополучно заскакивал на борт, имея полные карманы сосновых шишек и впечатлений на сутки вперёд.

А были и другие шлюзы. Совсем другие. Я даже не помню, на какой реке, но, очевидно, где-то ближе к столицам. Это были огромные бетонные бункеры. Сходить на берег

здесь строжайше запрещалось: охраняемые режимные объекты. Всё кругом немного страшило.

Мёртвая безлюдная территория, вылизанная до того, что маленький камень на дорожке бросался в глаза.

Потом судно погружалось, территория уходила из вида, и взгляд упирался теперь в склизкую бетонную стену с грубыми чугунными крюками на швартовых. «Лена» словно тонула в подводном аду. Холод, мрак, неумолимый сырой бетон, а наверху неумолимые люди. Впереди огромные стальные ворота, такие же склизкие, намертво закрытые. «Врата адавы». Выйти из такого шлюза, значит заново ощутить радость жизни, увидеть милый, обычный прибрежный мир с его многоцветьем, ускользнуть от мертвящего «ничего нельзя».

У нас на судне тоже многое запрещено, но здесь запрещают свои, близкие. Они делают это ради моей же безопасности. На охраняемом шлюзезапрещают чужие. Не родные и не близкие. Им наплевать на мою безопасность. Они блюдут безопасность государственную. Я для них не любимый ребёнок, а лишь малогабаритный движущийся объект. Они даже могут в меня выстрелить. А вдруг я маленький диверсант, которого подучили взрослые дяди-шпионы? Велика ты, безопасность государственная.

Москва

У каждого советского ребёнка в жизни была вполне реальная сказка – Москва. Столица настолько разительно отличалась в те годы от провинции, что и для многих взрослых она была другим миром.

«Лена» шла с Устья-Кубенского в Москву, все четыре трюма были забиты добротной провинциальной фанерой, без которой, сами понимаете, столица в скором времени прекратила бы своё существование. Для меня это был первый московский рейс, и моё ожидание встречи с белокаменной постепенно становилось просто надрывным. Вот мы уже идём каналом имени Москвы. Чудо понемногу начинается – берега, словно по линейке проведены.

Я суетился в открытом трюме, нашёл там метровую палку и зачем-то выбросил за борт. Отец это увидел и только что не закричал: «Ты что, с ума сошёл? Слава Богу, хоть не видел никто. Мы здесь даже горелые спички за борт не бросаем, а ты целую дубину за борт проводил». Отец не был зол на меня, его просто поразила простота моего обращения с каналом имени Москвы.

А я окончательно извёл отца, до бесконечности спрашивая его, когда же мы прибудем в столицу. Наконец он сказал мне: «Иди, ложись спать, когда проснёшься, будем уже стоять у пирса в Москве». Я поскорее забрался на свой диван-

чик. Очень хотелось сразу же уснуть, и, разумеется, это никак не получалось...

Открыл глаза – уже светло. Машины подо мной не урчат. Значит стоим. Значит в Москве. Я подскочил к иллюминатору, как зигзаг молнии, смазанный салом. И... на моём лице отразилась вся мировая скорбь. В иллюминаторе виднелись захудалые обшарпанные двухэтажные домишки. Я мучительно пытался понять, почему мы не в Москве, а то, что это не Москва сомнений не было никаких. Поплёлся искать отца, намереваясь потребовать объяснений. Отец, узнав причину моей печали, рассмеялся: «Это и есть Москва, просто мы стоим в порту на самой окраине. Не переживай, скоро в центр поедem». Москва нисколько не разочаровала, она даже оказалась ещё чудеснее, чем я мог предположить.

Кириллов

Когда мне пошёл третий десяток, несколько лет подряд очень часто снился сказочный город (сейчас эти сны давно уже не повторяются). Нет, это была не Москва, город был совсем не похож на шумную столицу. Общее впечатление от моего сонного миража можно было передать словами: «Водоём и нечто старинное». Во сне всегда больше впечатлений, чем деталей. Проснувшись, я старательно пытался понять, на что, из виденного мною в реальности похож этот таинственный, загадочный город, куда летела моя душа, где она замирала от радостных предчувствий встречи с чем-то запредельным. Там, кажется, был какой-то замок... Нет, не замок, хотя нечто очень похожее. Что же?.. Однажды меня осенило. Мой таинственный мираж был перевоссоздан, вылеплен и смоделирован из Кириллова монастыря.

В Кириллове «Лена» стояла довольно часто. Я очень любил и его деревенские берега с бревенчатым пирсом, и само Сиверское озеро и таинственный монастырь, подобного которому, я нигде и ничего не видел. Одной из моих детских драгоценностей стал простенький набор открыток с видами монастыря.

Я зачем-то переписывал в отдельную тетрадку названия монастырских церквей и даже просил папу перерисовать туда же план монастыря из книги про Кириллов, которую по-

дарили на день рождения матросу Валере.

С полным пониманием значимости происходящего, я старательно выводил в своей тетрадке: «Церковь Иоанна Лествичника». Я, конечно, ничего не мог знать про преподобного Иоанна, и даже не догадывался, что прозвище этого святого происходит от простого слова «лестница». Но я слышал тихую, неотмирную музыку слова «лествичник», улавливал тихий шелест листвы и ветвей, внимал манящей монастырской тишине.

Ничего не зная ни об истории Кириллова монастыря, ни о монашестве вообще, я бродил по обители, словно между таинственных теней иного мира. Какие-то непонятные монахи жили здесь. Они построили эти необычные здания и храмы. Я не думал о монахах ни хорошо, ни плохо, так же как и о церквях, и о том, зачем они были построены. В стенах обители мне было хорошо и интересно, а причина этого не столь уж далека от поверхности детского сознания: «Здесь не как везде». Может быть, этим неглубоким детским штампом довольно точно выражался истинный, глубинный смысл монастырского бытия. Не как везде.

Ребёнок ещё и близко не догадывается, какие мрачные бездны скрыты порою под этим «везде». Ребёнку просто хорошо там, где это везде отходит на второй план. Это обязательно надо, чтобы было «не как везде». Потому я так, наверное, и «Лену» любил, нашу плавучую обитель, которая подолгу некасалась земли, потому мне снился тот «неведо-

мый град» выросший в душе из Кирилловской обители. А почему больше не снится?

Прощание славянки

Август заканчивался. Мне пора было «первый раз в первый класс», а «Лена» всё ещё стояла у пирса в Кириллове. Нам с мамой пришлось ехать в Вологду на автобусе.

Когда мы сошли на берег, на «Лене» в рубке через усильтели включили «Прощание славянки». Я очень любил этот торжественный и немного грустный марш. Все на судне об этом знали. И теперь, покидая судно, я не сомневался, что «Прощание славянки» включили именно ради меня. Большоесудно прощался с маленьким мальчиком, словно на берег сошёл капитан. Я почувствовал тогда, что на судне был заметен, нужен. Детское сердце защемило.

Через некоторое время после того, как умер отец, когда я уже написал первые странички эти заметок, мама передала мне некоторые отцовские письма, которые он писал ей с судна, когда она уже не плавала с ним, и я тоже был на берегу.

Отец писал: «В основном у меня всё в порядке, в машине работа всегда найдётся, так что постоянно при деле. Зайду в каюту – как-то пусто в ней без Серёжи, и опять в машину лезу. Вчера весь вечер стиркой занимался. Когда Серёжа на судне был, не так скучно было, а сейчас начинаю считать дни до конца навигации...»

Это была наша с ним последняя навигация. Мы сошли на берег.

1999 год

Когда в поле дует осенний ветер

С 14 лет до 21 года был самый ужасный период в моей жизни. Что со мной случилось? Я был нормальным ребёнком: гонял на велике, стрелял из рогатки, постоянно что-то вырезал из дерева. И до сих пор я различаю на руках много шрамов, оставшихся от той поры. Одноклассники меня уважали и никаких проблем в общении с ровесниками у меня не было. Помню, мы очень любили бороться, и для меня ничего не стоило одолеть трёх противников разом, я мог спокойно сложить их в кучу и сесть сверху. Пятерых за раз одолеть уже не мог, но и они не могли со мной справиться. Я был мальчиком довольно дерзким и рискованным, то есть у меня всё было нормально.

Но вот, едва мне перевалило за 14 лет, как жизнь стала мне в тягость. У меня начало развиваться какое-то совершенно ужасное мировосприятие. Всё виделось мне исключительно в чёрных тонах. Это не было особенностью переломного возраста, потому что, оставив его за спиной и поступив в институт, я смотрел на жизнь всё так же мрачно. Почему? Может быть, я читал больше других, но мало ли будущих учёных-филологов читали ещё больше меня, да ничего же с ними от этого не случилось. А у меня первые же попытки осмысления бытия привели к результатам по-настоящему трагическим. И это отнюдь не было следствием юно-

пешской склонности «маленько пострадать». Всё было очень по-взрослому.

Именно в эти годы, с 1978-го по 1984-й, я вёл дневник. Отец по моей просьбе приносил с завода разные неиспользованные «журналы судовых испытаний», и я добросовестно заполнял своими каракулями один за другим. В этом была какая-то странная связь с моим детством, проведённым на палубе, но она только подчёркивала разрыв с тем мальчиком, каким я был. За детством и отрочеством у меня почему-то не наступила юность.

И вот пришло время разобраться с той горой дневников. Сейчас, когда мне 51 год, я уже готов к тому, чтобы дать оценку их содержанию. И хотя мне по-прежнему больно перелистывать их пожелтевшие страницы, но я уже к этому готов, потому что теперь у меня есть ключ к их прочтению.

Конечно, на 90 процентов эти журналы заполнены тем, что даже мне самому сейчас уже не интересно. Тогда я просто беседовал со своим дневником, рассказывая ему о том, что сейчас уже не имеет ни малейшего значения. Но там оказалось много фрагментов, которые, складываясь в общую картину, отражают первый этап моей духовной биографии. Тут и процесс самопознания, имеющей свои личностные особенности, и мучительный поиск истины, попытки осмыслить земное бытие и своё место в нём, и отражение эпохи перезрелого социализма, позднее получившей название эпохи застоя. Здесь нет никаких политических оценок,

но это, кроме прочего, и о том, как эта эпоха отзывалась в живой человеческой душе. Собственно говоря, это о том, как страдает душа, жаждущая Бога, но не находящая Его.

Да, теперь мне кажется, что всё это имеет некоторое значение. И я уже готов провести для нескольких человек небольшую экскурсию в ад.

14 лет

17.03.78.

Кажется, я начал много нового понимать в причинах моей хандры. Дело в том, что на многое я не способен, я это уже давно понял, а на малое размениваться я не согласен, поэтому вообще что-либо делать опротивело. Именно поэтому я изорвал вчера мои стихи. Они были мне милы, но я знал их невысокую цену. А то, что, во-первых – плохо, а во-вторых, написано мной, не имеет права на существование. Хрен с ними, со стихами, но ведь я могу вообще перестать что-либо делать. Я видел в своих мечтах мир куда более совершенный, чем наш, поэтому довольствоваться малым на земле мне противно, большего же иметь не могу. Но ведь надо же как-то жить и я раздуваю мелкие неприятности в целые муки.

Сознаю, что всеми этими рассуждениями я воспитываю лень природы, что скоро от моей природной решительности не останется и следа. Но ведь что ни делай, а верхов мне не достичь, а середина, на мой взгляд, не многим лучше ничтожества. К тому же, читая книги, я привык быть с великими «на ты», привык ставить себя на их место, а в жизни получается такая глупость...

Ещё во мне есть ощущение бесполезности. Сначала я хотел как можно больше сделать в жизни, но понял, что ниче-

го толкового не сделаю. Потом хотел как можно больше понять, но ведь всё это уйдёт вместе со мной в могилу. Что же осталось? Ничего.

Может быть, я пишу это только для того, чтобы прикрыть собственную лень? Но безвольных людей, таких, как я – большинство, и их это нисколько не смущает. А во мне есть то, чего нет в них.

06.05.78.

Сашка сказал мне, что раньше уважал меня за оригинальность, а теперь – за целеустремлённость. Эта черта никогда не числилась в списке моих достоинств, но я примерно понимаю, что он имел ввиду. Он принял за целеустремлённость то, что у меня есть определённые жизненные принципы, и то, что я всегда имею на вещи свой личный взгляд. Но меня отличает как раз отсутствие цели, я вообще не знаю, зачем живу. Все мои действия ни на что не направлены. Я чувствую в себе могучие силы любить, я могу любить очень сильно, но растрачиваю весь жар души по бумажным пустякам. Мне кажется, в жизни всё, что я буду любить, будет отворачиваться от меня.

14.06.78.

Почему я так недоверчиво отношусь к марксизму? Я недолюбливаю марксизм за его чрезмерную правильность, плановость и, как это ни странно – осуществимость. Мне не нравится будничность, житейская пыль, и я хочу противопоставить марксизму то, что не покрыто ржавчиной бытия, то, что

прекрасно, обворожительно и неосуществимо. Зачем заниматься тем, что неосуществимо? Этот вопрос равносителен вопросу: зачем люди не рождаются мудрыми стариками? Мне предстоит тысячу раз пересматривать свои взгляды и проклинать существующий порядок вещей, до тех пор, пока я не повзрслею.

15 лет

25.02.79

«Я не верю ни во что!». Как мило и привлекательно звучат эти слова в устах классических скептиков. Надо же! Ни во что не верить, на всё смотреть в презрением, вот здорово, наверное. Где мне было понять своим куриным умом, что это неверие было для столь любимых мною разочарованных героев страшным проклятием. Приятна ли жизнь, когда отрицаешь её абсолютный смысл, отрицаешь смысл всего сущего? И когда в поисках веры скользишь по жизни ироническим взглядом, и не находишь ничего, во что можешь поверить. Хотел бы, а не можешь.

Я помню, как тогда, в церкви, хоровая молитва старушек произвела на меня впечатление массового психоза. Построили дом, повесили иконы, собрались, накурили ладана и просят для себя и своих ближних благополучия. У кого? У того, чьё существование отрицается самим ходом жизни. Меня просто потрясла бессмысленность их действий. Но такая ли уж бессмысленность? Они имеют веру, пусть слепую и бездоказательную. Для них церковь – место, где разговаривают с высшей силой мироздания. Для них это возможно, для меня – никогда.

Сумятица бесконечных мыслей, ощущение неправильности выводов, бессилие сделать правильные. Иногда – боязнь

этих выводов. Презрение ко всему сущему, осознание величия недоступного. Видит бог, как это приятно. Я всеми силами хочу верить бездоказательно, но не могу. Я не могу найти доказательств того, во что стоило бы верить.

28.03.79

Наивная невинность, подкупающая доверчивость... Но почему подкупающая? Почему люди, умудрённые жизненным опытом, через многое прошедшие, считают своим идеалом существо, которое стоит на самой низшей ступени этого восхождения? Те, у кого восприятие жизни дошло до самого трагического предела и сочетается с незаурядным умом, воспринимают невинность уже несколько болезненно, в таком восприятии есть что-то нездоровое. Взгляд такого человека – всёискажающий, не может не исказить собственный идеал. Но почему идеал именно такой? Любой человек ищет идеал вне собственного «эго». Или вообще вне объективного мира. И этому вовсе не препятствует выбор «жертвы» среди людей. Поэтому у человека, начинающего жить, идеал в человеке с опытом, а у опытного человека идеал в том, кто ещё и жить не начал.

16 лет

03.01.80.

Есенин писал: «Успокойся, смертный, и не требуй правды той, что не нужна тебе». Да живи ты себе, как живётся, по возможности – честно, и не залетай слишком высоко. И чем больше своих извилин ты узлом завязал, тем легче тебе будет. В этом смысле дураки – счастливые люди. Их не трогают всякие там вселенские дисгармонии. А самые счастливые – дураки, довольные собой. Как у Уэллса в «Стране слепых». Они были твёрдо уверены, что нет ничего, кроме их темноты, и ничего не могло поколебать их спокойствия. Так же и дураки.

Но есть и умные счастливцы. Этому, кто смог зацепиться за идею. Они из чего-то для себя правду слепили и живут этой собственной правдой, часто считая её объективной. Одни твёрдо верят в коммунизм и отдаются его строительству. Я не верю в коммунизм, но я не стану смеяться над ними, потому что они ухватились за идею, и эта идея придаёт вес их жизни. Другие верят в деньги. В них правда. Они дают счастье. Мир до дна продажен. Тоже идея, тоже жизнь объясняет. Третьи верят в бога. Это, пожалуй, самое удачное, потому что объясняет решительно всё без исключения.

Вера, побуждающая к действию, наполняет жизнь смыслом. Впрочем, не всё так просто. Человек может перепро-

бовать много идей за свою жизнь, много раз может разочароваться. Но если человек ищет, он чаще всего может найти себе идею, за которую можно держаться. Время, когда он не знает во что верить – это время отчаяния, время потери смысла.

Объективной правды не существует. Да она и не нужна. Правда у каждого своя (у кого есть). А вообще весь секрет состоит в том, чтобы жить честно. Это часто наполняет человека ощущением того, что он живёт не бесцельно. А истина... Да на кой она хрен.

Но если ты начинаешь приближаться к правде, если ты начинаешь всё видеть таким, какое оно есть, ты либо свихнёшься, либо поверишь в бога. Один человек выносит больше правды, другой – меньше. Но есть доза, которую не вынести никому.

14.06.80.

Вместе со мной умрёт ещё один человек – Марина. Но никто, даже она сама, этого не заметит.

17 лет

25.08.80.

Что я понимаю под жестокостью судьбы? Сначала, наверное, путаницу чувств. Всё так гадски переплетено, что часто один человек счастлив за счёт другого. Отсюда вытекают все «эгоизмы» и «самопожертвования», сама сущность которых нелепа. А ещё нелепее то, что их зачастую и отличить невозможно. Эту же основу имеют и всякие неопределённости, внутренняя неуравновешенность. Причём, всё это как раз и определяет сущность человека. Основа сапиенса – неуравновешенность. «И почему я должен мириться с этой стеной, только потому что она – дважды два?» (Ф.Д.). Путь борьбы не для меня, но я встаю на нигилистический и, может быть, очень пошлый путь всеотрицания. И всеоправдания. Это одно и то же.

Мой знакомый сказал мне, что прежде всего надо стать нечеловеком. Тогда я не понял его, а теперь, может быть с другим смыслом, повторяю эти слова исходя из изложенного мной понимания сапиенса. Кларизм (ясность) в котором выход из всей этой белиберды, может быть, большая пошлость, и проповедовать его сапиенсам – большая глупость. Но я не утверждаю, что кларизм вне и внутри нас. Не утверждаю даже, что к нему нужно стремиться. Я лишь указываю на него, как на идеал всех порядочных марсиан.

05.01.81.

Я никогда не пытался возводить собственную упадочность в ранг мирового закона. Я всегда презирал брюзжащих мизантропов и вообще весь этот декаданс не меньше, чем самого себя. Я люблю сильных и даже огромных людей, умеющих ценить свою жизнь. Людей, стоящих твёрдо и смотрящих прямо. И, как это ни странно, я всё больше тяготею к теориям, по которым я подлежу немедленному уничтожению. По-русски это звучит «кто смел, тот и съел», по западному – социал-дарвинизм. Жить должны сильные, плодить слякоть – без надобности.

Понимаю, каким ужасом могут обернуться эти теории на практике. Но распутывать жизненные узлы, то есть сплетения жизненных интересов – глупо. Всё равно выйдет так, что один живёт за счёт другого. Узлы надо рубить. Так честнее и проще. Кто сильный, тот и будет счастлив.

Больше всего я уважаю «разумный эгоизм» Чернышевского. Ведь он говорил то же, что и Каупервуд: «Мои желания – прежде всего». Чернышевский был против пошлой жертвенности, но он говорил о том, что желания должны быть разумными и не идти в разрез с желаниями других. Но он указывает на идеал, умалчивая о путях его достижения. Как же сделать, чтобы в разрез не шло?

Согласуются ли твои желания с желаниями окружающих тебя мало должно интересовать. Достаточным оправданием тебе является то, что любой имеет право пользоваться тем

же принципом. Не может? Его дело.

30.01.81.

Я начинаю чувствовать в себе непреодолимую страсть к игре. Я просто игрок по натуре. И все мои последние остро- ты на картёжный лад:

«Не бывает только пять тузов в колоде».

«Мелкие ставки – пустая трата времени, а крупные ставки – пустая трата денег».

«Сегодня ты – барон, а завтра ты – Мюнхгаузен».

И изо всей этой картёжной трясины мне вдруг больше все- го на свете захотелось увидеть Марину. Той силы страсти уже нет, но ведь вместе с ней исчезли и проклятия. Марина и 2-3 неординарных мысли – вот и всё, что у меня было. Но разве это мало для такой короткой жизни, как моя?

22.03.81.

Карты научили меня относиться к жизни по-филосовски. Научили тому, что никогда нельзя дать правильную оцен- ку ни победам, ни поражениям. Как знать, не послужит ли временная удача фундаментом для будущего фиаско, и не подготовят ли неприятности будущее счастье? В жизни всё так переплетено, что любое событие подготовлено целой це- почкой предыдущих. Проследить эту цепочку невозможно, предвидеть – тем более. Пребывая в этом неведении, чело- век не должен забывать, что ему неизвестен истинный смысл происходящих событий. Выиграешь в лотерею – и останешь- ся нищим, сломаешь руку – и проживёшь вдвое больше, не

вовремя почешешь за ухом – и несчастен на всю жизнь.

27.03.81.

Когда я трепался о том, что истина – это шар, я не понимал значения своей мысли. Интересно, удавалось ли кому-нибудь охватить одним взглядом со всех сторон непрозрачный шар, особенно если этот шар – внушительных размеров? Но почему человеку это недоступно? Потому что вечность не может уместиться в преходящем. Земная цивилизация – случайный всплеск во вселенной. И человек, даже самый умный, не имеет ни о чём решительно никакого представления. Самые мудрые это чувствуют. «Я знаю, что ничего не знаю» – это же вопль отчаяния.

Любой незаурядный непредвзятый человек с ясной головой неизбежно приходит к ничему. Логика неизбежно приводит человека к ничему. Нам ничего не понятно и ничего не известно, лишь какие-то бессвязные обрывки. Глаз человеческого разума никогда не станет настолько изошрённым, чтобы небо истины стало для него ясной и единой звездой. Любой честный человек к старости скажет: «А ведь я так ничего и не понял».

Но ведь со всем этим нельзя жить, а род человеческий существует. Поэтому, для того, чтобы жить, нужно лгать. Человек хватается за идею и живёт. В идеях людских нет ничего абсолютно. Но для человека главное прожить так, чтобы получить чувство личного удовлетворения. Для этого он должен твёрдо верить в свою идею и поменьше смотреть на

звёзды. Желательно так же завязать узлом несколько тех извилин, которые могут понять то, чего не надо.

Да неужели человеку, у которого в крови считать, что мир существует лишь постольку, поскольку он его воспринимает, будет приятно осознавать, что не только он, но и всё человечество – лишь секунда, случайная прихоть космических сил? Большинство людей не задумываются над этими вопросами именно потому, что если бы задумывались, число самоубийц превысило бы число рождающихся.

Какие бесполезные рассуждения... Но как они начинают одолевать, когда чувствуешь, что ни ты, никто другой ничего не способны понять.

05.04.81.

«Космический пессимизм» – это теория, которая может придти в голову только тому, кто уже перестал что-либо делать и занялся бесплодной рефлексией. Это теория меланхоликов, у которых много свободного времени. Она не заложена в человеке, противоречит его сущности. «Жизнь прекрасна» – вот мысль, которая в каждом от рождения.

Но самое странное то, что уличить «космический пессимизм» в логической неверности невозможно. Каждая мысль до такой степени проста и ясна, что с ней согласится кто угодно. Вместе с тем эту теорию признают не только бесполезной, но и вредной. Бесполезной, потому что она ничего не объясняет и не подсказывает, как жить, ибо говорит, что жизнь вообще большая глупость. Вредной, потому что она

расшатывает психику, подрывает жизнеспособность и волю.

Эти звёзды так прочно забиты,

И луна расплескалась навек.

На земле, темнотою укрытой,

Для чего ты вообще, человек?

«Людам не нужны такие стихи», – сказал мне Леднёв.

16.04.81.

Я есть как факт. Как камень, как лужа. О камень можно запнуться, лужи приходится обходить. Вот и запинаятся, и обходят иногда. Люди просто вынуждены считаться со мной, как с фактом. Но чуть только стоит пошевелиться и ощущаю жизнь. Только шевелюсь очень редко.

Жизнь почти наверняка должна быть прекрасна. Я никогда не испытывал это на себе, но часто догадывался, что это должно быть именно так. Мои мёртвые рассуждения о её жалкости ничего не стоят.

10.05.81.

Жизнь – игра, в которой карты, как водится, лежат «рубашками» кверху. Какая карта следующая в колоде? Мало знать, та ли она, которую ты ждёшь, интереснее, что она принесёт тебе? Нет никакой вероятности, что к тебе придёт только хорошее. Да человек на одно хорошее и не рассчитан. Но если бы тобой руководила высшая сила, тогда через потерю малого, ты обрёл бы большое.

Это теория идентичности. Это не значит, что всё в жизни одно и то же. Но мы вынуждены считать события идентич-

ными, потому что не можем определить их подлинную ценность.

19.05.81.

Будущее представляется мне какой-то чужой жизнью, где меня уже не будет, а будет существо принципиально новое. В чём именно я стану другим? В этом и состоит загадка будущего. В моём теперешнем состоянии человек не может долго находиться, а никакой надежды на счастливые изменения нет. Разве случайность. Но любая случайность может быть только отсрочкой.

15.07.81.

В моей жизни Марина – это всё. Если её нет – нет ничего. Так неужели же я поверю, что действительно больше уже ничего не осталось? Мне хочется взять её за плечи, быть глаза в глаза, но я чувствую, что даже дотронуться до неё не смею. И хочется напиться до бесчувствия, упасть в густую траву и пролежать всю жизнь. Она – больше, чем весь мир, я – меньше, чем я сам.

Недавно слушал по радио постановку «Отцов и детей». С одной мыслью Базарова я согласен полностью и от души: «Я не могу уважать человека, который всю жизнь поставил на карту женской любви и раскис, когда эта карта оказалась битой». Базаров – человек больших и широких интересов, человек дела, и только такие, как он, достойны уважения. Ну разве можно всю жизнь думать только о любви? Это глупо и пошло до крайности. Человек должен твёрдо стоять на зем-

ле и прямо смотреть на мир. Если единственной заботой у него становится твердить какое-нибудь женское имя, значит он конченный человек. Он не лучше алкоголика. Я, действительно, так считаю.

«Простые души, простите мне парадоксы мои, они возникают, когда думаешь» (Ж.-Ж.Руссо). И простите мне мои бесконечные цитаты, они возникают, когда читаешь.

18 лет

06.10.81.

Моя жизнь кажется мне последнее время толстой книгой, в которой я прочитал первые сто страниц. Вроде бы в этих страницах было уже достаточно содержания и основная интрига успела пойти на убыль. Кажется, если бы эта книга оборвалась прямо сейчас, она уже была бы законченным произведением. И всё-таки я вижу, что основная часть ещё впереди.

07.10.81.

Ты сам резко очертил круг своего существования, и сам же теперь пытаешься прорвать его. Что же удивительного в том, что это не всегда получается.

20.10.81.

Когда в поле дует осенний ветер и на пожухлой траве лежит не растаявший утренний снег, когда небо кажется низким потолком, я уже не думаю о тайнах, я смотрю вперёд, и мне кажется, что я слышу музыку ещё не наступивших дней. Я чувствую музыку жизни, но мне не подобрать к ней слова.

24.02.82.

Какой навязчивой стала последнее время мысль: «Жизнь – это инфекционное заболевание материи». Не прочитай я этих слов у Томаса Манна, я бы сформулировал тоже самое по-своему. Я не просто механически воспринял эту мысль,

я её прочувствовал и переварил. Я долго шёл к этой мысли, весь ход моего развития толкал меня к ней.

Когда в аудитории сидит 70 человек и можно одним взглядом охватить всю эту массу мяса, она мне кажется какой-то плесенью, извращённой формой материи. Материя как будто утратила свою целомудренность и чистоту, когда осознала себя таковой одна из её форм. Невозможно представить себе что-нибудь более непрочное, слабое, жалкое, преходящее, чем человек.

Я представляю себе земной шар, облепленный тонкой плёнкой плесени. Но жизнь на планете – не такое уж неизлечимое заболевание. В один момент произойдёт небольшое смещение во вселенной, и этой плесени больше не будет. Материя вновь вернётся к своей исходной форме. Уничтожение всего человечества целиком, так чтобы ни одна тля не уцелела, было бы не преступлением, а благодеянием. Впрочем, «благодеяние» – лишь человеческая выдумка. Материя не знает добра и зла. Это было бы просто логично. Материи известна логика.

Это не игра в красивые фразы, и не модная теория. Это мысли, не покидающие меня ни на минуту.

24.04.82.

Я не имею права называться человеком не в каком-то там гуманном смысле, а просто человеком, как частью общей массы. Человеческие проблемы, человеческие дела и стремления перестали меня интересовать. Мне даже радио быва-

ет смешно слушать, до того бессмысленными кажутся мне вопросы, занимающие это стадо. Но коль скоро я далёк от мысли считать себя за эталон, то я и не признаю за собой права их судить. У них – своя жизнь, пусть сами в ней копаются, а у меня – никакой. Всё, что они делают, все выводы, к которым они приходят, могут быть верными и неверными, полезными и вредными, мне-то что до того? Я не сужу вас, люди, мне просто на вас плевать.

Как будто лошадь тащит за собой убитого всадника, ноги которого застряли в стремях. Лошадь – это время, всадник – я.

19 лет

09.08.82

На улице мне часто хочется закрыть глаза, чтобы не видеть человеческих лиц, до того жалкими, мелочными, отвратительными кажутся мне они. Люди! Зачем вы слезли с деревьев, зачем вырядились, зачем гордо называете себя людьми. Вы просто самодовольное мясо. Жизнь человеческая основана на лжи. На лжи о том, что жизнь имеет смысл. И ложь эта всего лишь призвана оправдать трансформированный хрен знает во что инстинкт самосохранения. Жизнь прекрасна? Любая обезьяна знает это не хуже вас, потому что не хочет умирать. А назад, на деревья, дороги нет.

Человечество состоит из дураков, трусов и самоубийц. Последние – самые честные.

Разве это презрение пошло только от моей личной неустроенности? А в чём она собственно заключается? У меня же всё есть. Моя жизнь не хуже, чем жизнь большинства моих знакомых. Так почему же мне так плохо, почему я не хочу жить?

Я ведь знаю, что приобрету я что-нибудь из желаемого, оно очень скоро станет ненавистным для меня. Получи я всё на свете, жизнь не будет мне в радость. В моей жизни нет никаких крупных неудач, всё идёт, как и должно идти у нормального человека. И всё-таки, как больно мне жить, как я

не хочу больше этой преисподней.

Я устал от своих знакомых. Когда сижу дома, каждый звонок в дверь пугает меня. А вдруг опять ко мне? Тем более, что столько знакомств случайных и ненужных. У меня нет никакой тяги к общению, и тем не менее вокруг меня постоянно кто-то ошивается из особо безразличных мне. Сегодня мне вдруг остро захотелось полного физического одиночества хотя бы на неделю. Чтобы вообще людей не видеть. Избушка где-нибудь в лесу, книги, конспекты и немного вина.

01.10.82.

Эти постоянные проклятые обезьяны, пропахшие мазутом и навозом, эти постоянные узколобые дегенераты, у которых с мартышками общего гораздо больше, чем со мной. Я никогда не прощу им упрощенности их жизни, мелочности их проблемок, не прощу самодовольной тупости. Они не живут настоящей жизнью, потому что прокорм и яркие тряпки – это всё, что им интересно.

Как меня бесит, когда какой-нибудь орангутанг заявляет вдруг, что философия не нужна. Да, она не нужна вам, ваше дело – копаться в навозе. Но она нужна тем, кто будет управлять вами, для того, чтобы управлять как можно лучше. Зачем именно? Не ваше дело. И этот рабочий скот будет ещё претендовать на какое-то мировоззрение.

Что такое народ, и что значит любить его? Боюсь, что я не пойму этого никогда. Я не прощу им того, что они не способны истинно страдать и того, что за них (за них ведь всё-

таки!) страдают те, кто обречён мыслить и чувствовать.

16.10.82.

То, что я изложил выше – это только одна из сторон моего презрения. Вторая сторона – это презрение к интеллектуалам. Но это уже сопровождается не гримасой отвращения, а гримасой жалости. Я чувствую, что интеллектуальное суть искусственное, что нет абсолютно никакой разницы, фонема «ы» или не фонема, такой является траектория кометы или совсем другой. Мне глубоко плевать, была ли у славян письменность до Кирилла и Мефодия. И тем не менее, надо всем этим бьются тысячи головастых мужиков, «двигают вперёд» какие-то бессмысленные языковые проблемы, плятятся на звёзды, сохнут над древними рукописями. Ну разве станет человек счастливее от более или менее успешного решения этих вопросов? Или все они существуют только для того, чтобы создать у человека иллюзию, что он не тварь бездуховная? Я знаю, для чего они существуют. Для самих себя. Занятия фундаментальной наукой – это попытка солгать самому себе, что жизнь имеет смысл. Корпение над дурацкой фонемой делает жизнь человека наполненной. Выходит, что наука – это на три четверти самоцель. Не смешно ли?

14.02.83.

Я часто замечал, что идеалистические философские системы бывают очень близки мне по мировосприятию. Ближе, чем марксизм. Тут говорит не бес противоречия. Марксизм всё объяснил, а в жизни осталось столько необъяснённых

ного! Вот я и ищу объяснений, и скатываюсь в идеализм. За каждым из проклятых нами идеалистов стоит живое мировосприятие, человеческая судьба, а мы разделили их на несколько категорий и думаем, что обезопасили.

Когда я пытался сказать преподавательнице, что энергетизм Оствальда сложнее, нежели просто идеализм, она ткнула меня носом в решение Оствальдом основного вопроса философии и не захотела далее слушать ни моих доводов, ни доводов бедного Вильгельма. Но если, скажем, Канта к его системе привела жизнь, то как я должен воспринимать эту систему, если моя жизнь похожа на его? Я забываю о ненаучности и оставляю для себя всё, что можно связать с реальностью.

23.03.83.

Я живу без корней. Нет на земле такого «мы», составной частью которого было бы моё «я». Мои цели – только мои, общих ни с кем нет. Я в равной степени чужой и советскому обывателю, и интеллектуальной элите, и джинсовым мальчикам. Пугаясь этого, я хватаюсь за театральный патриотизм, с пафосом произношу «Россия», подспудно зная, что для меня это слово – набор звуков. Я не способен страдать болью времени, оторван от эпохи, которая «растёт в упругих ритмах». Я оторван от людей и от времени, я замкнут сам на себя. Моя судьба – 19 лет, а нормальная судьба должна насчитывать столетия.

09.06.83.

На столе сбитая мною муха с вывихнутым крылом не может толком ползти – крутиться на месте, переворачивается на спину. Но зачем она проявляет такую активность? Разве ей есть куда спешить? Если бы она и была на ходу, какая у неё цель?

18.06.83.

Из собственного неумения жить вдруг вырастает вселенский пессимизм. Неожиданно выясняется, что другие люди не то чтобы плохие, а просто обезьяны, и полезали бы они обратно на деревья. Оказывается, что половина человечества играет в куклы, другая половина – месит навоз, и только избранные натуры не делают ни того, ни другого, а просто напиваются через день. И таковым вдруг становится понятно, что пространство и время – жалкие человеческие выдумки, а землю давно пора отдать на свалку вселенной. А ведь и надо-то собственно только почувствовать своё единение с этим якобы быдлом для того, чтобы пространство и время вместе с землёй заняли свои законные, от века им уготованные места.

Но что же делать человеку, не оставившему себе утешения даже в своих псевдотеориях? Не самоубийца ли тот, кто для того, чтобы защитить себя от жизни выстраивает теорию, а через минуту уже весь исходит на иронию и сам же эту теорию разрушает. Он не может или не хочет действовать, но при этом смеётся над каждой попыткой оправдать свою деградацию.

06.07.83.

Иногда я думал: зачем люди придумывают новые машины, покоряют космос, строят всё более комфортабельные каменные шалаши? Они ведь не стали счастливее, чем были 8 веков назад. И никогда не станут счастливее. Значит, понятие прогресса не имеет смысла. Что же прогрессирует, если у людей счастья не прибавилось?

Но с другой стороны, зачем создаются новые произведения искусства? Не превзойти, ни зачеркнуть старые они не способны, а уж сделать человека счастливее и тем более. Но как же не творить? Что это за кастрация такая? У нас не было бы экзистенциализма, остановись мы на XIX веке с его классикой, мы не знали бы Гессе, Манна. Они не сделали нас счастливее, но и думать не хочется, что их могло не быть.

Так же, наверное, и в первом случае. Если у человека отняли любимое дело или ушла любимая женщина, он будет одинаково несчастен и в шалаше, и в благоустроенной квартире. И тем не менее он предпочитает квартиру. Значит, существует некое позитивное нечто кроме счастья. И его отсутствие может разрушить любое счастье.

07.07.83.

Оленька – почти произведение искусства. Человек, существование которого говорит о том, что пессимизм и оптимизм – одинаково глупо. Сколько античной гармонии в её совершенно не античном лице с горчинкой. Если Беатриче не была похожа на неё, значит Данте не мог потерять созна-

ние тогда на мосту. О такое лицо можно обжечься, но оно может и сгореть. Любой фон, на котором можно увидеть это лицо, или теряет всякий смысл, или наполняется глубочайшим смыслом.

20 лет

21.08.83

Необходимо максимально сократить зависимость от внешнего мира, то есть «завоевать пространство воздуха, которым дышишь по собственному усмотрению» (А.Блок). Необходимо научиться черпать радости и огорчения изнутри самого себя, и тогда уже ни одна сволочь тебя не достанет. Вместо презрения к людям, которое несёшь, как тяжкий крест, наступит снисходительно-добродушное отношения к ним. Надо уподобиться йогу из индийского жизнеописания Гессе, но в отличие от него, не уходить в лес, а жить среди людей. Надо приучить себя жить без общения, вина, женщин. Жить духовной жизнью. Во мне есть предрасположенность к этому, но эта предрасположенность в сочетании с пристрастием ко всему перечисленному рвёт меня на части.

26.09.83.

Я не хочу больше лжи. Не хочу вина. Я хочу любить. Я хочу добрых близких людей вокруг себя. Любовь – это вера, никакие доказательства ей не нужны, она живёт и умирает по законам, далёким отлогическим. Именно на образе любви, на образе веры строится человеческая жизнь. Больше её построить не на чём.

У меня отобрали Христа раньше, чем я родился. Я сам у себя отобрал любовь.

Надо обрести бога в своей душе. Я перевешал бы всех ублюдков материалистов. Что они дали миру? Чем заменён величайший из всех институтов, созданных человечеством – институт Церкви?

06.12.83.

У истоков всего стоит первая «спасительная идея» – инстинкт самосохранения, трансформированный в «любовь к жизни». Кто поумнее, давно уже догадался, как мы нелепы со своими страстями, побуждениями и делами. Но изначальная «спасительная идея» – это сторож у входа в небытие. Однако, людям мало этой идеи, они выдумывают для себя «смысл жизни», потому что одной только «радостью жизни» от лукавого не откупишься, а он вечно «шепчет роковые доводы и в руку всовывает нож».

Можно смеяться над тем, что наш преподаватель всю жизнь вложил в «модальные значения, наслаивающиеся на общую семантику процесса». Но это покажется не смешным, а ужасающим, когда жизнь отнимет эту первую «спасительную идею». Станет понятно, что не только занятия «семантиками», но и любой «смысл жизни» нелеп в такой же степени, что нет смысла жизни, имеющего смысл.

Как я завидую людям, у которых есть любовь и ненависть, порождённые их идеей. У меня их место заняли вспышки слезливой сентиментальности и беспредметной злости.

«Любовь к жизни» – это повязка на глазах. Когда она спадает, понимаешь, что ничто не имеет смысла.

А Ира? Она – «царица небесная», но кто в большей степени, чем она – «от мира сего»? Может быть она – Сикстинская мадонна – изначальная мера вещей? А вот ты смеряй этой мерой мадонну Луиса де Моралеса.

Какой ужас, что всё необратимо. Занятия «семантиками» смехотворны, но от них нельзя отмахнуться, их нельзя просто так прекратить. До какой же степени маразма это всё может дойти, а ведь идёт же вперёд.

Ну где же ты, моя мадонна?

19.01.84.

Отчего жизнь наша так бесцветна и скучна до невыносимости? Отчего нас затягивает пьянство, хотя мы давно поняли, что с водкой пора завязывать? Слабость воли? Да, в первую очередь, но воля – вещь служебная. На службу чему мы способны её поставить, если позитивное отсутствует в нашей жизни? «Отцы» всё ещё думают, что наши улыбочки на комсомольских собраниях – это инфантильный скептицизм. А я, например, давлюсь этими улыбочками, пытаюсь их сдерживать. Нет, это уже не инфантилизм, а внутренняя опустошённость, хроническая неспособность верить. На место дискредитированных государственных идеалов не пришли никакие другие.

Как гнусно, что жизнь ничего не может нам предложить. Мы не знаем, чего добиваться.

21 год

06.08.84.

Кажется, у меня наступила вокабулярная интоксикация, или, по-русски говоря, отравление словами. Чувствую, что отравился собственной болтовнёй по делу и без дела. Болтовня – хлеб, болтовня – хобби. Болтовня за бутылкой, болтовня за кафедрой. Болтовня с девушкой, болтовня с милиционером. А Оля не могла понять, почему я всё молчал. Пошло, когда слова не влияют ни на что.

12.08.84.

Вечером, стоя на балконе с сигаретой, чувствуешь, что сентябрь уже близок. Чёрный, блестящий после дождя асфальт, фиолетовое небо... Сентябрь – это жизнь. Время пронзительной тоски и вместе с тем время, которого я так жду. Отчего? Тоска под космическим холодом фонарей была, когда в очередном сентябре умирала очередная надежда, значит, была жизнь, а не тина да ил. Сентябрьское одиночество – совершенно особого рода. Это одиночество вечернего прохожего, которому больше некуда спешить.

19.08.84.

Какое это имеет значение? Что вообще имеет значение? О чём бы ни думал, чтобы не делал – всегда в финале стоят эти гнусные вопросы.

После прочтения «Звезды Соломона» вдохновенно поду-

мал, какое это счастье – пропускать через себя целые миры, один за другим. Растворяться в совершенно особом законченном бытии, затем вынырнуть, чтобы вскоре растворится в другом. Но ведь в основе своей это тоже самое, что и водка, то есть испуг перед жизнью, желание создать свою, другую жизнь. А это моё двухнедельное путешествие по мирам – штука такая же тупая и бессмысленная, как запой. Но какая разница, как убивать время? В любом случае это будут золотые рыбки полковника Аурелиано. Библиотека, так библиотека.

17.11.84.

Что знают эти «громко визжащие и ярко красные» о любви к России? Что знаю о ней я, готовый сто раз повторить вслед за Буниным: «Никогда я не знал, что такое любовь к России». Повторить хотя бы за тем, чтобы увидеть маску ханжеского возмущения на их рожах. Но почему, когда я слушаю русские народные песни, у меня наворачиваются слёзы на глаза? Почему, когда я смотрю в окно вагона на заснеженные поля, даже не думается, а чувствуется: «Господи, это Россия».

21.11.84.

Время стало похоже на старую злую черепаху, которая еле ползёт и как будто издевается надо мной вместе с этими детьми лесорубов. Нельзя обижать время, оно начинает жестоко мстить. Чем же я его обидел? Так ведь я же хотел его убить – не шутки.

23.11.84.

Русь! Россия! Разве можно любить страну и презирать её народ? Разве можно любить песни и презирать тех, кто их сложил? Это самое дикое противоречие моих теперешних чувствований. Мой природный демократизм не может ужиться с нажитым ницшеанством. Или восхвалять идеал природной внутренней мощи и тем самым примириться с теми, чьи песни я так люблю? Возможно ли?

Опять эти трусливые попытки обзавестись мировоззрением. Зачем?

27.11.84.

Как могут жить люди, которых ничто на свете не касается, кроме своего загаженного внутреннего мирка, которым безразлично всё происходящее вокруг, если это не вызывает перемены настроения?

01.12.84.

Читаю трилогию Юхана Бергена «Маленький лорд». Вилфред – тот, о ком я говорил. Человек, не имеющий мировоззрения, этой мразматичной трусливой гнусности, при помощи которой человек хочет привязать себя к внешнему миру. Человек, искавший тропинку, но убедившийся, что искать её незачем. Боже, как глубоко человек может забраться вглубь самого себя, так глубоко, что дорога обратно будет уже немислима. И тогда останется – не искать дорогу обратно, а затащить кого-нибудь внутрь самого себя, разрывая нити, связывающие жертву с людьми, которых для тебя уже не

существует. Именно затащить, а не облить собой, как помо-
ями. Для этого нужна сила.

Надо понемногу освобождаться от лишних понятий. Не
имеющему собственного мнения уже не нужны многие сло-
ва. Сбросивший с себя ношу мировоззрения и обретший
огромную и холодную, как звёздное небо, свободу, уже мо-
жет обходиться без ярлыков.

04.12.84.

Мне не надо пытаться претендовать на мученические лав-
ры. Нужна сила для того, чтобы стать диким зверем, для ко-
торого бегство – способ бытия. Нужны мощные инстинкты.
У меня их нет. Для того, чтобы жить, мне нужно несколько
тропинок, несколько выходов изнутри самого себя. Сейчас
нельзя быть одному. Тропинка к Валиному дому необходи-
ма. Не надо поз. Одному с химерами не справиться.

16.12.84.

Я никак не могу поверить, что мне уже 21 год. Это не укла-
дывается у меня в голове. Когда мне было 14, то казалось,
что уже 50, душа стала дряблой, взгляд на вещи – стариков-
ским. К 16-и годам к этой преждевременной старости доба-
вилось немного своевременной взрослости. С тех пор я не
менялся. Менялись взгляды, но уровень их оставался преж-
ним. Мировосприятие изменялось, но не развивалось. По-
этому сейчас я удивляюсь, что прошло уже целых 5 лет. Ка-
жется, мне всё ещё 16. Слишком рано у меня наступило ста-
риковское торможение. Ведь 60-летний старик почти то же

самое, что и 70-летний. Опыт, для овладения которым иному требуется целая жизнь, я выносил из какой-нибудь недели своих страданий. Так в сжатом, сморщенном виде вся жизнь оказалось прожитой к 20-и годам. Теперь уже не будет ничего нового. Все возможные новые события будут наталкиваться на старые привычные реакции. С такого момента жизнь уже не имеет смысла.

Тридцать лет спустя

19.02.15.

Всё закончилось хорошо. Через полгода после последней записи я окончил институт, женился и начал работать, а ещё через год у меня родился сын. Началась принципиально другая жизнь. В новой жизни я не вёл дневника. А ведь я был прав – в той жизни уже действительно не могло быть ничего нового, и она не имела больше смысла.

Что это было? Что происходило со мной в эти 6-7 лет почти непрерывного кошмара, который, кажется, появился ниоткуда и исчез в никуда? 20 лет назад я ещё не мог бы ответить на этот вопрос, да, пожалуй, что и 10 лет назад не был к этому готов, а сейчас для меня это ясно, как Божий день. Теперь у меня есть ключ к пониманию того, что со мной тогда происходило.

Это просто. Искреннее стремление к истине плюс слишком чувствительная натура минус религиозная вера. Это почти классический «русский мальчик». Едва только ребёнок начинает становиться мужчиной, как у него возникают вопросы, на которые ни у кого нет ответов, и вскоре этому ребёнку уже нечем дышать. Он не находит в жизни ничего твёрдого, на что могла бы опереться его душа. Это феномен религиозного сознания без Бога. Это реально страшно.

Даже сейчас, спустя 30 лет, когда я перелистывал свои

многотомные дневники и выписывал из них фрагменты, душа болела. Я уже забыл, что там было, в этих дневниках, я думал, что там слишком много книжного, подражательного, что все эти «страдания юного Вертера» во многом искусственные, выдуманные. Оказалось, что нет. Здесь всё настоящее. Почти никакого позирования, никакого желания понравиться самому себе. И что самое удивительное – практически ни одной чужой мысли, никакого подражательства. Это даже странно для мальчика, который много читал. Конечно, книги оказывали на меня большое влияние, но власти надо мной они не имели. Даже когда я отталкивался от чужих мыслей, я развивал их по-своему, исходя из того, что было внутри меня. Я сам удивлён, но в моём дневнике вовсе нет никакого «подражания разочарованным героям», которое иногда бывает свойственно юношам.

Сегодня я готов предъявить счёт мировой классике, которой я тогда зачитывался, вовсе не за то, как великие писатели на меня повлияли, а скорее за то, что они не повлияли на меня никак. Они не имели никакой внутренней силы, чтобы повлиять на подрастающее поколение. Они сами ничего не понимали в этой жизни и ничего не могли объяснить.

Сначала я был влюблён в Лермонтова ну и, конечно же, в Байрона. Это два очень несчастных человека с покалеченной психикой. Они вообще ничего не утверждали, в их книгах нет совершенно никакой правды, разве лишь утверждение: «но правды нет и выше». А что есть? А ничего у них нет. Их

можно было любить, как родственные души, но они никуда не звали.

Потом я был влюблён в Александра Блока. Вот уж у кого была каша в голове. Гениальный поэт, кто бы спорил, но вообще ничего не понимающий в жизни. Безверие – обычное состояние нашей интеллигенции, а Блок был её зеркалом. Он пытался вырабатывать какие-то свои модели мировосприятия, но у него не здорово получалось. Ему нечего было предложить по большому счёту. Ещё одна родственная душа, общение с которой ничего не могло дать.

Потом я любил Достоевского. У него было что взять, но не под тем соусом это было приготовлено. Его герои – больные на всю голову. Миры Достоевского ужасны, как ужасен мир моего дневника. Соответственно, читая Достоевского, я оставался при своём. Достоевский может быть мне полезен сейчас, когда я уже в состоянии отделить мух от котлет, тогда же он был для меня сплошным «мухоедством» по меткому замечанию капитана Лебядкина. Куда звал самый христианский из всех героев Достоевского, князь Мышкин? В дурдом? Ну вот мы так это и понимали.

А что мог предложить мне Герман Гессе, которым я увлекался? Ничего. Помню даже преподаватель в частной беседе сказал мне: «У Гессе нет позитивной программы». Он только забыл сказать, у кого она есть. Мы, конечно, и сами знали, что позитивная программа есть у Чернышевского и Горького, но они звали туда, где мы уже были и не обрели ничего

хорошего. А другие? Ни Стендаль и Мопассан, ни Толстой и Тургенев ничего не могли объяснить, ничего не могли предложить.

Я только сейчас понял, насколько духовно убога почти вся мировая классика. XIX век – век рационализма и безверия, и гениальные писатели гениально воплощали в образах собственную духовную пустоту. А мы до сих пор хотим отвратить молодёжь от «чтива» и приучить к классике, хотя «чтиво» им просто ничего не даст, а классика отравит ядом. Среди гениальных писателей нет ни одного, который мог бы претендовать на роль учителя жизни.

Лев Толстой пытался выбраться на твёрдый берег, но, обезумев от гордыни, сорвался в пропасть, куда и доньше приглашает прилежных школьников. Михаил Булгаков – великий художник, но «Мастер и Маргарита» – пучина отчаяния, в которую он, конечно, не приглашает, но ведь он не приглашает вообще никуда.

А куда приглашал любимый мною Джек Лондон? Утопиться, как Мартин Иден? Замечательно. Ещё он приглашал «в страну морозов и мужчин». Это его приглашение я как раз принял и не без пользы для себя, но этого было мало. Недавно перечитывал Джека. Большой художник и человек с хорошей душой, но какой он не глубокий и не умный.

А ведь коммунисты были ребятами, настроенными на позитив. Как же они могли благословить преподавание в школе и массовое издание литературы, начисто лишённой пози-

тива? Тут у них была своя мысль: «Посмотрите, как лучшие люди до революции мучились, какая у них была пустота в душе, а у нас, советских людей, теперь есть своя правда». Эта вполне понятная мысль в эпоху Брежнева ударила по коммунистам рикошетом. Тогда над официальной идеологией все смеялись, в советские идеалы уже никто не верил. И когда мы в школе изучали образы «лишних людей», никто уже не думал: «Как хорошо, что нам не приходится так мучиться». У меня, например, было устойчивое ощущение: «А ведь и я мучаюсь точно так же». Безверие классики вошло в резонанс с безверием эпохи Брежнева, которую позднее справедливо назвали застоём. Об этом писал Высоцкий: «Мы тоже дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас». И мой дневник – это заметки лишнего человека эпохи застоя.

Дело ведь не только в книгах. За весь тот период своей жизни я ни разу не встретил ни одного человека с твёрдыми убеждениями. Я не знал ни одного убеждённого коммуниста, кроме пары уж совсем неумных людей. Из верующих я знал только безграмотных бабушек. Либеральных диссидентов я не встречал вообще никаких. Не в столице жил. Если бы мне тогда встретить хоть одного хорошо образованного, грамотного человека с твёрдыми православными убеждениями... Но я даже не догадывался, что такие люди могут существовать.

А какие книги были бы мне тогда полезны из тех, которые уже были написаны? «Диалоги» Валентина Свенцицко-

го вполне могли бы перевернуть всю мою жизнь и поставить её на твёрдые рельсы. Да если бы к «Диалогам» ещё «Лето Господне» Шмелёва – большого русского художника. И Честертон был бы весьма кстати, и Мориак пошёл бы на пользу. Нилус и Поселянин – вообще не литература, но эта «нелитература» вместо ядовитых шедевров, стала бы тогда для моей души живой водой. Всего полдюжины книг, и родился бы новый жизнеспособный человек. Но эти книги шли тогда по разряду антисоветской литературы. Так будьте же вы прокляты, коммунисты брежневской поры, сами уже не верившие в собственные идеалы, но бдительно следившие за тем, чтобы никаких иных идеалов никто не смел проповедовать.

Не надо и говорить, что теперь я не согласен почти ни с одной мыслью из тех, что выражены в моём дневнике. И всё-таки я с уважением отношусь к тем своим мыслям. Я и сейчас считаю, что если исключить из человеческого бытия Бога, то ни к каким иным идеям, по здравому рассуждению, и невозможно было придти. И какая искренняя там тоска по вере...

Да мне бы тогда хоть пару слов правды хоть от кого-нибудь, и мир вспыхнул бы перед глазами праздником удивительных красок. Но мы прожили так, как прожили, и правда пришла в нашу жизнь тогда, когда пришла. Слава Богу за всё.

Костёр на льду

В те годы, когда я вёл дневник, я ещё писал стихи. Первые стихотворные пробы я сделал в 1978 году, 14 лет от роду. Эти стихи были чистой графоманией, и я их потом уничтожил. А в 1979 году, то есть когда мне было 15-16 лет, что-то такое начало получаться. Я уже не писал стихи, они рождались, порою, так легко появляясь на свет, что я смотрел на них в недоумении: как это у меня могло получиться? Моё ли это? Поэтическое вдохновение – ни с чем не сравнимое чувство, сознание человека будто преобразуется и начинает выражать себя на том языке, каким оно в обычной жизни не владеет. Когда поэты говорят, что на них нечто нисходит откуда-то извне – это не метафора, не преувеличение, это очень реальное ощущение.

Сколько бы я позднее не думал о природе поэтического дара, его суть навсегда останется для меня загадкой. Иногда кажется, что тебе кто-то диктует, и у православного человека появляется очень тревожное предположение относительно того, кто бы это мог быть. Нам слишком хорошо известен источник некоторых «космических диктантов». И со стихами так тоже может быть. Однако, не думаю, что поэтическое творчество всегда имеет в основе некое вмешательство со стороны «другого». Видимо, оно имеет источник внутри самого человека. Во мне этот источник начал хлестать упруги-

ми струями, когда пришла первая любовь. А потом этот источник пересох. Как и не бывало. И произошло это именно тогда, когда первая любовь ушла – где-то около 18 лет.

Нет, я не разучился писать складно и в рифму, но я вдруг почувствовал, что стихи уже не рождаются, я их выдумываю, порою просто вымучиваю. Это был уже всего лишь результат применения технических навыков. Я вас уверяю: «научить писать стихи» можно и обезьяну, если она будет стараться. Постепенно нарабатываются технические навыки, и из-под пера начинают выходить ритмичные, гладко рифмованные строки. Но это не поэзия. Поэзия требует некоего непостижимого дыхания духа, и это дыхание или есть, или его нет.

У меня его вдруг не стало. Я всё понял и стихов после 18-и лет больше не писал. Последняя вспышка чего-то очень похожего на поэтическое творчество случилась у меня в 21 год. Я работал на практике в глухом поселке Северный и привез оттуда два стихотворения. Кажется, это и правда стихи. Но больше я уже писать не пытался.

Костёр на льду
(1979-1984)

I

Камень и волны

Волны ласкают
Широкий лоб
Серого камня

Только родившись
Ласкают лоб
Древнего старца

Пенная нежность
Спешит изойти
В ласке минутной

Старый молчальник
Стоит, как стоял,
К ласкам привыкнув

04.09.79.

Поезд

Стук неясный до мерных ударов возрос,
И земля от предчувствий дрожит
В тёмной просеке леса на крыльях колёс
Он предвидится, ветром обвит

Возникает меж сосен его голова,

Жёлтых глаз туповатый обвод.
И как будто от боли очнувшись едва,
Он пронзительно тяжело ревёт.

Оборвавшейся лентой уносится вдаль,
Потонув в затихание полос,
Унося за собой ветровую печаль,
Как призыв, как укор, как вопрос.

Эвридика

Ты назад, мой певец, не гляди, не гляди.
Вместо песни сорвёшься ты в крике.
Пусть смотрящий вперёд счастье ждёт впереди
И поёт о своей Эвридике.

Не глядеть! Не глядеть! Уж открылся в скале
Светлый выход из мрака ночного.
Между ив у реки на цветущей земле
С Эвридикой ты встретишься снова.

Выход близок, но взгляд обернулся назад.
Нетерпение силы лишило.
Пала бездна, завывла и вздыбился ад,
Тень неясную ночь поглотила.

Снова день. На земле одинокий певец,
Взгляды бродят безумно и дико,
Голос глух, пальцы мертвы и виден конец
Страстной песне: «Вернись, Эвридика!»

Гнётся ива, как стан в тот момент роковой,
Над рекою ни песни, ни крика.
Только ветер печально выводит порой
На забытой струне: «Эвридика».

Драматический отрывок

– Не гляди! Счастья нет для смотрящих назад.
– Но ведь может ответ дать единственный взгляд.
Только взгляд – не укор, и не крик, и не стон.
– Захлебнётся костёр, что на льду разведён!

Нож

Нож живой – он и меч, и топор, и кинжал.
Не одно – сотни острых, отточенных жал.

Я закрою глаза – он всегда предо мной –
Колет в грудь, бьёт в лицо и грозит за спиной.

Вездесущ, неотступен, суров, многолик.

Из груди моей вырвет когда-нибудь крик.

Ни удары, ни руки ему не нужны.

Он войдёт мне под кожу как будто в ножны.

Музыка

Музыка с болью о ком-то рыдает,

Звуки дрожат и волной затухают.

Вдруг из падений взмывая дугою,

Мчатся и плещутся в русло другое.

Пропастей ужас! Рискованность взлёта!

Сердце трепещет, узнало кого-то.

Слёзы покорных немых изваяний

Стынут с укором застывших рыданий.

Сердце себя узнавать начинает.

Боль изваяний рыдает, рыдает.

29.07.79.

Ложь наводнила жизнь нашу и мою.

Мы в ней захлебнулись, и выплыть нет силы,
А где-то там, если я говорю: «Люблю»,
То ты отвечаешь: «Мой милый»

Как тень от сути отделились слова,
И мы запутались в этой игре с ними,
А где-то там, если над трупом говорят: «Мертва»
То не плачут, а смеются с улыбками незлыми

Мы лиц человеческих никогда не видали,
Лишь до ушей да к низу приклеенные губы,
А где-то там, если человеку чурбан показали,
То он говорит: «Сработано грубо»

Из мира личин, ложных звуков и самообмана
В «где-то» уйти я давно принял решение,
Но стеной и простором встаёт вечность океана,
И я понимаю, что «где-то» – многоликое разрушение.

Был ли кто при этом – не был
Только хоть кричи
Ведь звезда сорвалась с неба
Потонув в ночи

И, справляя панихиду,
Поезда гудят.
Мы живые будто с виду,
А сердца смердят.

Опьяняющим угаром
Дышат холода.
Не взошла на небе старом
Новая звезда.

14.10.79

Ветер звенит жестяными венками,
Птицы сидят на крестах.
Рядом дощечка с плохими стихами:
«Вечно ты в наших сердцах».

Плиты, надгробья, ограды стальные,
Вон на могиле стакан.
Правда, есть холмики очень простые –
Чуть ли не в пояс бурьян.

Вон на одной крест совсем покосился –
Верно давно уж гниёт.
К ржавой табличке поближе склонился –

Шёл ей 20-й лишь год.

Может когда-то была чьей-то милой,

Может любила мечтать.

Не кому только теперь над могилой

Даже траву оборвать.

Время и смерть пролегли между нами.

Ты умерла, я живу.

Вроде бы сбегать сейчас за цветами...

Не побегу, не нарву.

На кладбище после дождя

И тепло и паровито,

Вдаль несёт обрывки туч,

На крестах, дождём омытых,

Отразился светлый луч.

Птицы трели рассыпают,

Дышит чёрная земля,

И за шиворот роняют,

Холод влаги тополя.

Пробуждается стремленье

Всё живое полюбить.

Никакого настроенья
Из почтения скорбить.

Небо глуть свою открыло,
Чист дождём омытый лист,
И над солнечной могилой
Воздух влажен и лучист.

Я лежал одурманенный зноем
На зелёной траве уж века
Мочаливо-устало-спокойна
Где-то рядом томилась река

А в провалах дневных сновидений
Кто-то шепчет и шепчет о ней...
Нет, в ушах раздаётся гуденье
Деловитых мохнатых шмелей.

Надо встать и стряхнуть эту дрёму,
Пусть идущему жизнь нелегка.
Чей же голос, до боли знакомый,
Говорит, что лежать мне века?

Вечно длится молчанье
В этом замкнутом вечно кругу.
Обжигают сознание
Огоньки на другом берегу.

Над холодной волною
Сияние холодной звезды.
Под бездонностью неба –
Бездонность воды

19.09.81

II

Милая сторонюшка
И знакомый дом,
И резное солнышко
Над твоим окном.

Занавеска белая
На твоём окне.
Помню ты, несмелая,
Улыбалась мне.

Вспомнил я забытое,
Бывшее давно.
Ах, давно закрытое
Для меня окно.

22.11.79

Сумрачный вечер, с тобой мы одни,
Первая встреча, июльские дни.
Нежно-коричневый бархат руки
Робкие всплески притихшей реки.

Берег реки замедляет зима,
Шапки одели в деревне дома.
Сквозь неотступную зимнюю дрожь
Вижу, как ты в лёгком платье идёшь.

Волны тёмные не знают,
Как я в мире одинок.
Грустно волны набегают,
Тают волны возле ног

Ветер тихий и несмелый
Будит всплески на реке.
Что мелькает то и дело
Вдалеке? Не вдалеке?

Там где стелется тропинка,
До родных ли мне дверей?
Та ли белая косынка,
Что любви моей светлей?

У озера церковь есть белая
Над озером встанет луна,
Как будто монашка несмелая
И ласково плещет волна

С волною играют неверные
Пугливые блики луны.
Я жду тебя, радость вечерняя,
У белой церковной стены.

Твоё ли там платье волнистое?
И верно. Навстречу бегу.
Мелькнут огоньки золотистые
Далёко на том берегу

С тобой, моя нежная, скромная
По кромке песка мы идём.
Я знаю, что ночь будет тёмная
Я знаю, мы будем вдвоём

23.01.80.

Я буду безмолвен, как тень.
Я буду, как тень неотступен.
Для ласки чужой неприступен,
След в след за тобою весь день.

А ночью ужели уйду?
Кошмаром к тебе на подушку,
Укором немым снизойду,
И сон твой спокойный нарушу.

Ты утром проснёшься и вновь,
Кляня запоздалую нежность,
Кляня мою злую любовь,
Поймёшь ты мою неизбежность.

«Прости, прощай и извини»

О, темень ночи!

Былые, пасмурные дни

Простить нет мочи.

Простить ли первый мне ледок

В осенних лужах,

И близость зимних холодов

И снег и стужу?

Простить ли смоль твоих волос

И слов застылость?

Всё, что так долго ждать пришлось

Простить нет силы

Простить озябшею душой...

Увы, я знаю -

Сам виноват перед тобой.

И всё прощаю.

Улицы тихи и гулки,

Звучно по ним я шагал.

В тёмном глухом переулке

Прежнюю вдруг повстречал.

Был переулок тот узок,
С болью блестели глаза,
И о расторгнутых узах
Я, запинаясь, сказал

Было утрачено много
В белом манящем платке,
В стане, подчёркнутом строго,
В тонкой, спокойной руке

Прежнего мало осталось,
Всё я дотла размечтал.
Переборовши усталость,
В тёмную ночь зашагал.

10.03.79.

Дай твои руки согреть.
Я их не грел так давно.
Хочешь в окно посмотреть –
Я занавешу окно

Не отводи своих глаз

И расскажи о себе,
Если о прошлом рассказ
Так неприятен тебе.

Милая, ночь не долга.
В нежности и забытьи,
Скоро уймётся пурга,
Порозовеют снега,
Взгляды утихнут твои.

Не знаю, с кем ты, где ты,
Бездумно весела.
Мечтой своей согрета,
Добрее ты была.

Я так и не узнаю
Похож ли твой портрет
Ты в прошлом, дорогая,
А в настоящем – нет.

В своём далёком «где-то»
Ты для меня «не та».
Не зажигайте света,
Ведь комната пуста.

Весенняя элегия

Вспыхнет каплей алмазной вода,
Соскользнувши с прозрачного льда.

Серый снег размывает капель,
Но тебя не разбудит апрель.

И весною ты так же грустна,
Тень от старого зимнего сна.

За окном расплескалась весна,
Но на дне твоих глаз тишина.

17.03.80

А на небе только пол-луны,
Только марев тлеет красно-синий
В матовой расплывчатости линий,
Только сосны тёмно-зелены.

Потому что нет тебя со мною,
Бледно сосны так освещены,
И твоё отсутствие виною

Что на небе только пол-луны.

Ушла вместе с тёплым летом,
Забытою ставши бредней,
Но может быть именно это
И было каплей последней?

Ушла и возврата нету,
Довольно капаться в старом,
Но может быть именно это
И было последним ударом?

28.12.79.

Как я не понял сразу?
Теперь уже готов –
Ведь глиняная ваза
Для полевых цветов

Как я не понял сразу,
Что ты чужая мне?
И что в хрустальной вазе

Ромашкам места нет.

Легко и безоблачно было
Любви отдаваться своей.
Ты небо когда-то любила
Земля оказалась милей

Осталась печальная небыль,
Тетрадка стихов на столе.
Вечерние звёзды на небе,
Дневные цветы на земле.

28.12.79.

Ты не ужалишь, как пчела,
Нет, ты не зла и не коварна
Ты только то, чем ты была
Ты попросту не благодарна

Будь проклят день, когда пришлось
Тебя мне встретить, дорогая.
Неблагодарность или злость

Что хуже, право, я не знаю.

Я не прошу: «Ты прости меня»
И ни о чём о другом.
Прошлое слишком уж зимнее,
Чтобы разлиться теплом.

Там ли все самое верное?
Трудно теперь разрешить.
Прошлое слишком вечернее
Чтобы в пути мне светить.

22.01.80.

Если можно вообще любить
На земле до предела злой,
То любимую можешь быть
Только ты и никто другой.

Это просто смешная ложь,
Что любви уже тысячи лет,
Если ты на земле живёшь

Лишь недавно, мой ясный свет.

Она горда и холодна,
Но в мире лишь одна.
Одна везде, одна всегда,
В душе одна беда.

Всех унесут с собой года,
Она же навсегда –
Одна, маняще холодна,
Как на небе луна.

Ш

Лишь смотрю на тебя,
Не знаком я с тобой,
И, ещё не любя,
Я доволен судьбой,

Что не знаю совсем
О тебе ничего,
Что не ранишь ничем

Сердца ты моего.

Разлюбить, не любя,
Ты не сможешь меня,
И смотрю на тебя
Ничего не кляня.

Хочу влюбиться в твой белый локон,
Хочу забыться в хмелю жестоком.

Не надо чёрной – мечта пустая...
Отдамся вздорной, под лаской тая.

Любви кристальной пропьём блаженство.
Чем взгляд нахальный не совершенство?

Портрет

Ты смотришь хитро и игриво,
А через миг уж не узнать –
Умна, серьёзна, молчалива
И весела уже опять.

Ты лишь красива неизменно

И любишь, вечное дразня,
В душе ласкать попеременно
То нежность зорь, то мудрость дня.

Свободно к самому святому
Тебя пускаешь не тая,
Но улыбаешься любому –
Ничья, а значит не моя.

Ничья, как взгляд, что брошен в спину
Легко с тобой о всём забыть,
Но в красоте твоей – трясина
Я не хочу тебя любить.

IV

По направлению к полю

Поле давится ветром, а сзади,
В мёртвом холоде едких огней,
Точит трупы высотных громадин
Легион человеческих червей.

По утру из безжизненных трупов
Черви выползут, их не унять.
Встанет день равнодушно и тупо –

Где-то там и уже без меня.

День минул, он как будто и не был.
Звёзды вбиты среди тишины.
На распахнутой скатерти неба
Расплескалось блюдо луны.

Эти звёзды так прочно забиты...
И луна расплескалась на век.
На земле, темнотою укрытой,
Для чего ты вообще человек?

Я надена на плечи вериги,
Буду жить по-монашески строго,
Но рука на листах святой книги
Чертит имя другого бога.

Если Бог в небе есть,
Значит нету меня.
Звёзд мне даже не счесть,

Вечность мне не объять.

Весь кошмар этих дней –
Только прихоть. Но чья?
Только снилась ты мне,
Но кому снился я?

Я – лишь муторный сон.
Чей, кого разбудишь?
Если я сотворён,
Значит незачем жить.

На сугробы легли синевато-глубокие тени,
Залит кровью заката зовущий домой горизонт.
Дом закрыт от меня неразрывной завесой мгновений,
И до боли понятно: не скоро опять повезёт.

И тоску не прогонишь ни чаем, ни сном, ни стихами.
Словно чёрт сел на грудь леденящий покой этих мест.
А вчера за двором на бескрайнее снежное знамя
Две тропинки легли, словно русский Андреевский крест.

1984, декабрь

Сильна, как смерть любовь

Из Библии

Ну да, любовь сильна,
Но илом прошлых дней
Затянута она.
Зачем сейчас о ней?

Сейчас лишь грязь дорог,
Да в лужах первый снег,
А придорожный стог –
Единственный ночлег.

Сейчас лишь только ждать...
Неведомо чего.
Больничную кровать?
Безумья своего?

Стаканом водки крик
Обратно в глотку вбить?
Иль книгой среди книг
На полке век дожить?

Любовь сильна... Но как?
Куда наш путь земной?

Уж кончился табак...
Лишь прошлое со мной.

Беглый каторжник

Тот, кто сбросил колодки не ищет дорогу обратно.
По каким только стёжкам в ту ночь не носил меня бес.
Вдруг церквушка внезапно врезается в марев закатный,
Осеняя крестом не нуждавшийся в святости лес.

Запах дыма забыли давно эти мрачные ели.
Коль из леса с ножом, так бессмысленно даже кричать.
На чернеющий крест только волки оскалясь глядели,
Или те, кому лучше друг друга в лесах не встречать.

Не с лукавым – с волками скорей предстоит поединок.
И спасёшься не крестным знаменьем, а силой в руках.
Но ведь снился Христос, что распят на кресте из тропинок
На случайной опушке в бескрайних российских лесах.

1984

Суд над бандой четырех

Это было весной 1982 года, мы заканчивали первый курс, и с нами произошла история, весьма показательная во многих отношениях.

Филфак – девичий факультет, из 75-и студентов, принятых на первый курс, парней было только четверо, и на занятия по гражданской обороне мы ходили вчетвером, а девчонок тем временем учили на медсестер другие люди. Нам же в преподаватели достался отставной полковник морской авиации. Он любил приходить на занятия в своей слегка зловещей черной форме, и мы прозвали его «черный полковник».

Черный полковник был человеком на редкость тупым, но полковничьи погоны сообщили ему высочайшее представление о самом себе, и к нам он обращался всегда очень надменно и свысока, с глубокомысленным видом изрекая таки благоглупости, что мы просто давились от смеха, а порою так и не сильно старались скрывать, что нам от него смешно. Соответственно, полковник нас не любил. Для него, заматеревшего в условиях беспрекословного подчинения, было невыносимо то, что какие-то щенки над ним чуть ли не открыто потешаются, а он ни чего не может им сделать.

И вот однажды, на очередном занятии по гражданской обороне, двое из нас, самые младшие, расшутились не на шутку. Полковник дал нам самостоятельную работу и мало

обращал на нас внимания. А зря. Эти двое принялись писать не в тетради, а на парте, всю её разрисовав разнообразными антисоветскими лозунгами. Помню, например, такие: «Долой советские оккупационные войска из Афганистана». «А. Хейг: есть вещи поважнее мира» (Хейг был в те годы госсекретарем США) Парту также украсили крупные названия польских свободных профсоюзов «КОС-КОР» и «Солидарность», которые тогда стали активными борцами с коммунистической системой в Польше. Ещё была надпись: «Смерть Ярузельскому» (Генерала Ярузельского Москва тогда поставила во главе Польши для укрепления коммунистической системы и борьбы со свободными профсоюзами.)

Я смотрел на то, как мои товарищи усердно портят парту антисоветскими лозунгами, и мне было смешно. Мне казалось, что всё это довольно забавная, хотя и немного глупая шутка. Я хорошо знал, что у моих товарищей нет совсем никаких политических убеждений, ни советских, ни антисоветских. Они просто прикалываются. Мне это казалось чем-то не очень правильным. Если бы человек так думал, то он мог бы это писать, но если человек ни как не думает, то зачем он потрясает чужими лозунгами?

Всё, что связано с убеждениями, казалось мне плохой темой для шуток. Я, например, считал себя атеистом, и поэтому ни когда принципиально не носил креста на шее. Я считал, что нельзя надевать на себя знак чужих убеждений из моды и для прикола. Это должно что-то значить, это не мо-

жет не значить ничего. Так же и с политикой. Если бы они, действительно, были поклонниками Александра Хейга и лидеров «Солидарности» – я бы понял. Но они отнюдь не были противниками советской власти, так же как и я, так что мне не очень понравилась их шутка, но никакого возмущения она у меня, конечно, не вызвала, потому что нелепо же возмущаться шуткой, пусть даже не очень удачной.

Итак, мы посмеялись и забыли об этом сразу же, как только покинули аудиторию гражданской обороны. Но мы недооценили нашего чёрного полковника. Человек старой закалки, увидев на партах возмутительные надписи, он сразу же побежал в КГБ. В его памяти ещё свежи были те времена, когда за такие «шутки» расстреливали совершенно без вариантов. Да ведь и в 1982 году господствовала всё та же политическая система, это было время самого что ни на есть ортодоксального социализма, никакой перестройкой ещё и близко не пахло. И, между прочим, наши действия совершенно однозначно подпадали под статью уголовного кодекса «Антисоветская агитация и пропаганда». Так что чёрный полковник, я полагаю, был уверен, что нас если не посадят, то уж из института вышвырнут обязательно.

Почему же нам не было страшно? Да потому что мы, по сравнению с нашим полковником, выросли в совершенно другую эпоху. Мы даже не знали тогда ничего о беспредельной жестокости сталинских политических репрессий. Все вокруг нас смеялись над Брежневым и над советской вла-

стью. Смеялись в голос, ничего не опасаясь. Например, едет пьяный мужик в автобусе и громко заявляет: «К коммунизму идём семимильными шагами, а мяса нет!». Ну что? Ну и ничего. Никто в автобусе даже не вздрогнул, все только улыбнулись.

Анекдотам про Брежнева тогда не было числа, и рассказывать их можно было, ничего не опасаясь. Причём далеко не все эти анекдоты сводились к насмешке над старческой немощью нашего лидера, некоторые были откровенно политические. Например: «Какой самый длинный анекдот? Речь Брежнева на XXV съезде КПСС. Какой самый короткий анекдот? Коммунизм». Между прочим, пересказывание таких анекдотов тоже очень чётко подпадало под действие статьи «Антисоветская агитация и пропаганда», то есть, что ни говори, а это было уголовное преступление. Но это я сейчас понимаю, а тогда мы вообще об этом не думали, рассказывая подобные анекдоты спокойно, без страха, не оглядываясь.

А ведь и в те годы людей вполне реально преследовали за убеждения. Диссидентов, конечно, не расстреливали и больших сроков тогда не наматывали, но небольшие срока им всё ещё давали и в психушках морили, и из страны вышвыривали. Но тогда я об этом вообще ничего не знал и, кажется, даже слова «диссидент» не слышал. Я никогда не был знаком ни с одним человеком, имевшим твёрдые антикоммунистические убеждения. «Голос Америки» один раз «поймал» до-

ма на приёмнике, но ничего интересного не услышал, к тому же слушать было трудно, эту радиостанцию наши глушили искусственными помехами, так что больше я её и не пытался ловить.

Последние годы брежневского правления были гнилой эпохой. Если, скажем, до революции люди верили в Бога, а после революции верили в коммунизм, то мы уже не верили в коммунизм, и ещё не верили в Бога. Это была эпоха тотального неверия вообще ни во что. Убеждённые коммунисты тогда, наверное, встречались ещё реже, чем убеждённые антикоммунисты, а серьёзно верующих вообще была жалкая горсть. Такова была общественная атмосфера той поры.

Удивительно ли, что мы не боялись никаких репрессий? Но мы не учли маленького пустячка: говорить тогда можно было что угодно, а вот если ты писал, пусть даже и всего лишь на парте, это выводило ситуацию на другой уровень. Итак, с подачи чёрного полковника, у нас в институте появились сотрудники КГБ. («Агенты КГБ, как вороны кружат, там, где раньше был цветущий сад», – напевал тогда на мотив «Машины времени» один из наших шутников).

Меня вызвали в кабинет декана, где со мной захотел побеседовать офицер КГБ – вежливый и спокойный мужчина средних лет в костюме с галстуком. Он задавал мне вопросы про те надписи: не видел ли я, как их делали, не знаю ли, кто бы это мог быть? В его спокойном и даже уважительном по отношению ко мне тоне, я уловил слегка зловещие нотки и

понял, что шутки кончились. Помню, отвечал ему коротко и предельно осторожно, тщательно подбирая каждое слово. Конечно, я не мог сдать своих приятелей-шалобаев и ушёл в несознанку: ничего не видел, ни о чём не догадывался, кто бы это мог быть – представления не имею.

А они тогда уже всё знали. Получить образцы наших подчёрков не представляло труда, сделать графологическую экспертизу было и того проще. Но мне было не важно, что они знают, для меня имело значение только одно – чтобы они узнали это не от меня. Не знаю, как кололи наших «писателей», но под давлением «неопровержимых доказательств» они сознались во всём сразу же.

Меня никто не пытался обвинить в том, что я сделал эти надписи, но моё положение всё же было довольно щекотливым: находился рядом и не воспрепятствовал, а потом не сообщил «куда следует» и в первом разговоре с офицером КГБ получается, что покрывал «антисоветчиков». (Кстати, наш четвёртый товарищ прогулял ту пару, но его всюду таскали так же, как и нас).

Я упрямо твердил, что не видел, как они делали эти надписи. В сопровождении двух сотрудников КГБ нас привели в аудиторию гражданской обороны.

– Они сидели здесь, – говорит мне один из них, – а ты сидел здесь. И ты утверждаешь, что не видел, как они расписывали парту?

– Нет, не видел, – отвечаю я чуть ли не с улыбкой, пре-

красно понимая, что в мои слова невозможно поверить.

И вдруг совершенно неожиданно второй офицер заорал на меня:

– А если бы перед тобой на парту голую бабу положить, ты бы её тоже не заметил?

Я вздрогнул, съёжился и промолчал, вполне осознав, что шутки кончились теперь уже окончательно. Эти люди могли быть не только вежливыми, и разговаривать они умели в очень разных тональностях.

Кстати, лет 20 спустя, работая в областной газете, я познакомился с одним полковником налоговой полиции. Это был очень интересный человек, и наше общение быстро стало неформальным. Он рассказал мне, что когда-то служил в КГБ, причём именно в 5-м, идеологическом отделе. Я коротко пересказал ему ту давнюю историю и, кажется, начиная узнавать того офицера, который орал мне про «голую бабу», с улыбкой у него спросил: «Это не вы были?». «Нет, не я», – сухо ответил он. Но это был он. Я не стал на этом настаивать, у меня не было к нему претензий.

А тогда началась целая череда разных собраний и заседаний, имевших целью заклеить зелёных антисоветчиков и вынести по ним решение. Мой товарищ, не присутствовавший при порче парт в шутку назвал это «суд над бандой четырёх». Мы всё ещё старались бодриться и продолжали шутить.

Сначала, кажется, было комсомольское собрание всего

курса. Девчонки, с которыми мы были в дружеских отношениях, старались нас как-то поддержать и выручить. Помню одна милая девушка в начале собрания встала и резко заявила: «Это комсомольское собрание. Прошу всех некоммунистов покинуть аудиторию». Это было «зело борзо», она фактически попыталась выгнать с собрания всех преподавателей, но формально её за это трудно было упрекнуть, в её реплике можно было даже усмотреть некий комсомольский задор, то есть нечто вполне правильное. Но парторг факультета, преподаватель лет сорока, в ответ взвился орлом: «Я протестую, мы, коммунисты, имеем право присутствовать на комсомольских собраниях».

С каким священным пафосом он произнёс своё коронное: «Мы, коммунисты...». Через десять лет этот человек уже делал карьеру в демократическом лагере, и это у него неплохо получалось, он дошёл до «степеней известных», во всяком случае в посольстве США в Москве его хорошо принимали.

Тогда никто сильно не настаивал на том, что я видел, как идёт антисоветская работа и не воспрепятствовал, и не донёс. Моё «не видел» никто сильно не пытался опровергнуть. Подловили меня на другом, предложив дать оценку тому, что произошло. Дескать, если ты тут ни при чём, тогда выступи с осуждением политически незрелых действий своих товарищей.

И я сказал то, что на самом деле думал. Это не потребовало от меня никакого напряжения, мне казалось естествен-

ным говорить именно то, что я думаю. Ведь если бы я спросил у них: «Мне говорить то, что я на самом деле думаю?», любой из них, ни на секунду не задумавшись, сказал бы: «Да, разумеется, это само собой». Ну вот я и выдал им плод своих горестных раздумий: «Это бытовое хулиганство, примерно то же самое, что бить стёкла в окнах, не более того».

И вот за эту-то оценку в меня уже вцепились, склоняя на все лады. Получилось, что я вообще не увидел в происходящем политики. «Это что за близорукость такая? Да такая позиция ещё похуже, чем сами надписи». Но я собственно имел в виду, что мои товарищи – никакие не антисоветчики, что политикой они не интересуются, они просто хотели нахулиганить. Это была правда. Но это была не та правда, которую хотели от меня услышать. Моя позиция совсем не вписалась в логику политического разбирательства.

Трепали меня на совесть, от души. И не помню уже в ответ на какой вопрос я сказал: «Потому что у меня пассивная жизненная позиция». Я опять сказал то, что думал на самом деле. Но это уже ни в какие ворота не лезло. Как это у комсомольца, у будущего учителя, который должен будет воспитывать детей в духе политики партии, может быть пассивная жизненная позиция? «Тут ваще началось, не опишешь в словах».

Почему я тогда не захотел сказать то, что от меня хотели услышать, чтобы они отвязались и успокоились? Откровенно говоря, мне это и в голову не пришло, никакой внутрен-

ней борьбы во мне не было, я не осознавал, что у меня есть выбор: прогибаться под «ярко красных» или не прогибаться? То есть я не видел в своём поведении никакой упёртости. Старшие всегда учили нас честности, вот я и старался быть честным. А что такое?

Это может показаться инфантильной наивностью, но вы знаете, и сейчас, по прошествии 33-х лет, я поступил бы точно так же, но сейчас это было бы результатом осознанного выбора, а тогда это была естественная, почти интуитивная честность. Ведь честным быть хорошо? Разве не так?

У меня вызвали в институт отца. Парторг сказал ему: «Мы не стали бы вас беспокоить, если бы не та позиция, которую занял ваш сын». А о чём говорили – не помню. Видимо, парторг просто разводил пустопорожнюю коммунистическую демагогию, которую в памяти удержать невозможно. Конечно, отцу тогда было неловко, но ни «до», ни «после» он меня ни за что не ругал и не стыдил. Вообще, отец был щедр на шумные разносы, когда считал, что я провинился, но тогда он, видимо, не усмотрел в моих действиях никакой вины.

Через некоторое время наш физрук рассказал мне, что ему сказала декан: «Мне больше всех понравился отец Серёжи Катканова». Тогда я не понял почему, а сейчас я её понимаю. Отец, может быть, слегка оробел от того, что ему придется разговаривать с руководителями, имеющими учёные степени, но он держал себя с достоинством, не лебезил и не

заискивал, да он этого и не умел. При этом он ничего из себя не изображал, держался скромно, не пытался понравиться и оправдаться. Он просто выглядел нормальным мужиком. Вот и всё.

Кстати, из нас четверых я один был сыном рабочих. У остальных родители были с высшим образованием и работали в разных сферах руководителями разных уровней. В те годы уже не принято было кичиться пролетарским происхождением, и я не кичился, но и не стыдился его никогда. А сейчас я очень рад тому, что вырос в простой рабочей семье. Это сделало меня внутренне богаче тех, кто вырос в семьях рафинированной интеллигенции. Для них так и остались закрытыми, непонятными некоторые стороны жизни, которые для меня всегда были понятны и открыты.

А наш декан была женщиной умной, волевой и честной. Я всегда её уважал. Однажды в личной беседе со мной всё по тому же поводу она почти вспылила: «Я всё-таки не понимаю этого. Ну можно говорить о том, Брежнев хороший или плохой, но ведь тут речь о наших основах». Если по ходу всех разбирательств мне и было хоть раз стыдно, так это в тот момент. В самом деле, если мы не посягали на основы, так зачем было над ними потешаться? Ведь мы же ни секунды не сомневались в том, что социализм лучше капитализма, почему же тогда из нас пёрла эта игривая антисоветчина? Она сказала «не понимаю», а я и сам, может быть, только сейчас это понял.

Да, мы не сомневались в том, что революция сделала жизнь людей гораздо лучше, чем была при царе. Мы не сомневались в том, что на Западе простые люди живут гораздо хуже нас. Но то, что мы видели вокруг себя ни на что нас не вдохновляло, нам казалось смешным служить «делу партии». Мы верили в то, что социализм есть благо, но мы его не любили, он был нам неприятен. Поэтому мы так легко над ним иронизировали.

Помню, мне поручили провести политинформацию по поводу речи Брежнева на какой-то конференции. Отказаться было нельзя, а всерьёз говорить о том, какие важные истины открыл нам Леонид Ильич, не представлялось возможным. Я нашёл такой выход: выделил в речи ключевые фрагменты и зачитал их глумливо-ироничным тоном. После этого товарищ полушутливо сказал мне в курилке:

– Ты чё это над Брежневым решил поиздеваться?

– Что значит поиздеваться? Я ни одного своего слова не сказал. Только цитаты из Леонида Ильича.

– Но интонация...

– Ну... Интонацию к делу не пришьёшь.

Таковыми мы были. Таковыми нас сделала общественная атмосфера, в которой мы выросли. Никто советскую власть не отрицал, но все над ней смеялись. Это была атмосфера всеобщего нигилизма.

Очередным и, кажется, заключительным актом того «общественного осуждения» было заслушивание нас на ка-

ком-то партбюро во главе, кажется, с парторгом всего института. Диалог, который там произошёл, я вот уже 33 года помню дословно. Парторг спросил меня:

– Вы не изменили своего отношения к тому, что произошло?

– Изменил.

– И как вы сейчас это оцениваете?

– Это следствие отсутствия идеалов.

– А у вас есть идеалы?

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

– Да уж... После того, что произошло, ответить на этот вопрос и правда затруднительно... Честность и порядочность – вот идеалы.

Тогда с меня ничего больше не спрашивали, а я молча подумал: «Он совершил подмену понятий. Честность и порядочность – не идеалы, а нравственные качества». Забавно, правда? Идеологический работник даже не знал, что такое идеалы, то есть он и сам их не имел, а смотрел на меня с каких-то недостижимых высот, как на дурачка-несмышлёныша. Потом этот парторг занимал руководящую должность в структурах демократической власти. Сейчас я мог бы сказать ему: «У меня теперь есть идеалы. Я их искал и нашёл. А у тебя и тогда их не было, и сейчас нет». И доньше эти старые партократы, бойцы идеологического фронта, когда речь заходит об идеологии, просто не понимают, о чём идёт речь.

Тогда я сказал, что изменил своё мнение только потому

что на самом деле его изменил, впрочем, это было скорее развитие, чем принципиальное изменение первоначального суждения. Они всё требовали от меня оценок, они заставляли меня думать. Вот я и думал. Вот я и поделился своими выводами. Ведь этого же от меня хотели? Разве не так? Не тому бы лукавому парторгу учить того мальчишку честности. Впрочем, когда он спросил: «А у вас есть идеалы?», я дрогнул. Абсолютно честный ответ должен был бы звучать коротко: «Нет». Но я чувствовал, что такой ответ уже окончательно перейдёт за грань допустимого. Эту грань я уже боялся переступать. Но ведь не соврал же. Всё равно же не сказал того, что они хотели от меня услышать.

Я много раз прокручивал в памяти ту ситуацию и могу с чистой совестью сказать, что мне не стыдно за своё поведение. А им? «Отцам», которые устроили то судилище над пацанами когда-нибудь потом было стыдно? Думаю, что нет. Годы спустя я много раз брал интервью у бывших парторгов, которые поразительно хорошо интегрировались в демократическую власть. На вопрос о прежних временах они все отвечали примерно одно и то же: «Ну тогда такая система была». Они, кажется, искренне не могли понять, что не так? Была такая система, говорили, что эта система хотела, стала другая система, начали говорить нечто прямо противоположное. А как ещё-то?

Помню, один такой представитель хозноменклатуры, метивший в демократические мэры, сказал: «Считаю, что я был

хорошим коммунистом». Он сказал это очень искренне и так же искренне начал доказывать, что теперь он готов стать таким же хорошим антикоммунистом. Главное – быть хорошим. И тогда тебе обязательно дадут хорошую должность.

Мне, конечно, не известно, как обсуждалась мера нашего наказания, и кто какие вносил предложения. Уверен, впрочем, что декан была за нас, то есть за то, чтобы не наказывать нас слишком строго. Я многому научился у этой удивительной женщины. Я видел в ней редкое сочетание жесткости и человечности, потом я всю жизнь считал, что так и надо.

Чёрный полковник, конечно, был за то, чтобы стереть нас в порошок, но у него тогда, я думаю, было не лишка влияния. В конечном итоге пацанов пощадили, не стали ломать им жизнь, то есть не исключили из института.

А наказание нам вышло очень интересное: всем четверым – строгий выговор по комсомольской линии. То есть двух создателей антисоветских граффити, меня, который ничего не делал и нашего четвёртого товарища, который при этом даже не присутствовал, наказали одинаково. Это было чисто по-сталински, когда при определении наказания степень вины вообще не имела значения. Году этак в 30-м нам нарежали бы лет по 5 лагерей, а с 1937-го по 1952-й всех четверых расстреляли бы. Наказание тоже было бы одинаковым, но другим.

Значительно позже я понял, что партийные боссы института как раз и хотели организовать что-то вроде коллектив-

ного и единодушного осуждения отщепенцев, какие практиковались при Сталине. Как тогда на всяких собраниях проклинали бывших коллег, якобы предавших советскую власть, так и сейчас хотелось. Но эпоха была другой и на выходе получилась пародия на «гневное осуждение трудящихся». Лютая прагматичность сталинской мясорубки была уже невозможна. Брежнев был самым точным символом нашей эпохи – еле ходит, с трудом говорит и ничего не соображает. Эпоха не стала добрее, она стала слабее. И мне это моё «говорю, что думаю» сошло с рук просто потому, что на него не знали, как реагировать. У них не было никакой правды, которую они могли бы мне противопоставить, потому и не наседали на меня слишком сильно. И резонансного политического процесса не стали устраивать не столько по доброте душевной, сколько из страха – и так получилось «пятно на весь институт», так как бы не вышло «пятно на всю область».

Власть уже боялась сама себя активно защищать. В нашем деле проявилась, прежде всего, ужасающая идеологическая немощь власти. Как вы думаете, почему советская власть вскоре рухнула?

Эта история хорошо накладывается на дневниковые записи 1982-го года, хотя в моём дневнике о ней почему-то нет ни слова. Почему мне не хотелось тогда наедине с самим со-

бой поразмышлять на эту тему? Точно не из страха делать компрометирующие записи. Власть была противная, но не страшная. Но тогда мне интереснее было писать в дневнике о перипетиях отношений с девчонками. Это как-то больше увлекало. И ведь совсем не потому, что девчонки интересовали меня больше, чем вопросы идеологии. Я ведь как раз и жил в мире всяких разных идей. Но, видимо, я чувствовал, что от поисков второй половинки в моей жизни что-то зависит, а от тоскливых перипетий брежневской политики не зависит ничего. Это было скучно. А в годы перестройки политика захватила меня чрезвычайно, и я писал о ней много, но уже не в дневник, а для газеты, впрочем, так же искренне.

Сиреневая даль

В дневнике 1984 года так же нет ни слова о том, как я ездил в деревни на практику. Тут вроде было о чём написать, а не хотелось, не знаю даже почему. Я написал об этих путешествиях в 1999 году, уже опять-таки для газеты. Сейчас, в 2015 году, думал, что те давние публикации придётся заново переписывать – пришло время на многое посмотреть по-новому, к тому же я теперь могу позволить себе больше откровенности, чем когда писал для газеты. Но вот перечитал вырезки из газет и понял, что ничего тут не надо переделывать, лучше всё оставить, как было. Осмысление тех событий у меня осталось прежним, а уровень откровенности там и так зашкаливает. Может лишь местами что-то добавлю.

Ошибка резидента

Ранним морозным утром автобус уносил меня в сторону Сямжи. Было очень холодно, я задубел так, что всё нутро тряслось – щелеватый автобус насквозь продувался. Рядом со мной сидела симпатичная девушка, на которую я время от времени поглядывал, не решаясь заговорить. Вдруг она неожиданно спросила меня: «Вы не замёрзли?». Сейчас я, конечно, буркнул бы, что у меня давно уже зуб на зуб не попадает. Но тогда мне было 20 лет, я ехал в сиреневую даль, и вот уже прямо в дороге начались приключения – очаровательная особа хочет со мной познакомиться, к тому же с первых слов проявляя обо мне заботу. Ну конечно же я ответил: «Ни сколько не замёрз». И тут незнакомка раскрыла свой коварный замысел: «Тогда пересядьте, пожалуйста, к окну». Мне стало горько и смешно. У окна, действительно, было ещё холоднее, а знакомиться после этого всякое желание пропало.

Тогда я получил первый урок, из которого следовало, что путешествия по сельской глубинке, конечно, бывают полны приключений, но в основном таких, вспоминать о которых становится приятно лишь через много лет. В ближайшие 2 месяца, последовавшие за этим морозным рейсом, я получил ещё много уроков, хотя покинул отчий дом с целью прямо обратной – давать уроки другим. Студент третьего курса

педвуза ехал на первую в своей жизни практику. И не просто на практику, а на замещение, то есть мне предстояло работать на полную учительскую нагрузку и получать за это зарплату. Можно, конечно, было остаться в городе и проводить по 2 урока в неделю, но мне хотелось странствий.

С тех пор прошло полтора десятилетия. Я никогда не забывал своих первых уроков, но только сейчас почувствовал насущную потребность всё осмыслить и изложить. Когда земная жизнь до половины пройдена, можно посмотреть на свою молодость взглядом постороннего, однако ещё не совсем чужого человека. Первые уроки уже хорошо впитались, но ещё не начали выдыхаться, не потеряли значения и смысла. Чувствую, что если буду вспоминать об этом под старость, то просто придумаю себе такую молодость, которую всего удобнее иметь. А сейчас меня пока ещё интересует, как всё было на самом деле.

Я ехал в Сямжу, хотя мне надлежало оказаться в посёлке Исаково Вожегодского района. В Вожегодском РОНО мне объяснили, что попасть в Исаково можно только сначала вернувшись в Вологду, а оттуда доехав до Сямжи, из которой впрочем не было до Исакова никакого регулярного транспорта. Там на автостанции меня должны были встретить и отвезти до места на машине.

Всё это поразило меня до глубины души: дорога между 2 точками внутри одного района лежала через областной центр и ещё соседний райцентр. Что там вообще за места,

если приходится делать объезд в несколько сот километров? Не менее удивительным показалось мне и то, что к довольно крупному населённому пункту не приближается вообще ни один рейсовый автобус. А разве не забавна была просьба, высказанная в РОНО: не менять верхнюю одежду? Они собирались описать её шофёру для опознания меня на автостанции в Сямже. Для полного сходства со шпионским романом оставалось только придумать пароль.

И вот я, окончательно перемороженный, вывалился наконец из автобуса на автостанции в Сямже. Зашёл внутрь, но там было не теплее. Снова вышел на улицу, меня никто не опознавал, никто не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Стало не по себе. Что же это, думаю, явка что ли провалена, связной арестован? Развлекая себя подобным юмором, я ещё не понимал всей сложности своего положения. Дело в том, что в РОНО я на всякий случай поинтересовался, сколь далеко от Сямжи до Исакова. Сказали, что 16 километров, так что я в крайнем случае надеялся проделать это расстояние пешком.

К этой мысли в конечном итоге и пришлось склониться, потому что проведя на автостанции пару часов, я так никого и не заинтересовал своей персоной. Узнав направление, тронулся в путь, навьюченный, как верблюды. Не много тогда ещё приходилось ездить и, по неопытности, я набрал с собой кучу лишних вещей. Вот уже автостанция скрылась за холмом, зимний большак понемногу затягивал молодого бродягу...

Не знаю, что со мной стало бы, если бы не встретил на безлюдной дороге случайного прохожего. Слава Богу, на всякий случай спросил у него, далеко ли до Исакова? Мужчина посмотрел на меня, как на ненормального, и сказал, что 40 километров. Я был ошарашен. Что-то там в Вожеге перепутали или я не так понял. Идти вперёд не имело смысла и я, как побитая собака, поплёлся обратно на автостанцию, потому что ничего другого не оставалось.

Я снова сидел в зале ожидания – продрогший, голодный, окончательно деморализованный. Тупо глядел себе под ноги и ни о чём не думал. Даже в Вологду сегодня возвращаться было уже поздно. Так прошло ещё несколько часов, и вдруг я услышал за спиной в негромком разговоре слово «Исаково». Обернувшись, я задал совершенно бессмысленный вопрос: «А далеко до Исакова?». Ответ был: «90 километров».

Шпионский роман с опознанием резидента закончился. Началась «Алиса в Зазеркалье». Сначала до Исакова было 16 километров, потом – 40, а теперь – 90. Чем дальше я торчал здесь на одном месте, тем дальше становилось Исаково. Ближе к ночи, думаю, до Исакова станет уже километров 200, а к утру и Вологда может отодвинуться на тыщёнку километров.

Гораздо позже понял, что 16 километров мне, видимо, называли до Исакова не от Сямжи, а от Гремячего, куда теоретически можно было добраться на лесовозе, хотя такой запасной вариант мне никто не расписал, а 40 километров мужик на дороге назвал, наверное, до отворотки, хотя хрен ли мне

была эта отворотка? А тогда я просто окончательно обалдел. У меня больше не было вопросов вообще ни к кому.

Но из-за спины неожиданного донеслось: «Не переживай, сейчас тебя довезём. Ты ведь учитель?». Душу окатило тёплой волной. И от того, что меня первый раз в жизни назвали учителем, и от того, что мелькнул луч надежды. Я кивнул, боясь что-либо уточнять, а мой спаситель, выдержав паузу, сказал: «Утром машина сломалась, поэтому и не встретили тебя. Сейчас она приедет».

Как потом выяснилось, мой спаситель был мужем директора школы, и через пару часов мы на «газончике» подкатили к дверям директорского дома.

Директор была женщиной лет, наверное, 45-и. Она встретила меня, как тётушка любимого племянника после долгой разлуки. Тут же была открыта и разогрета целая банка тушёнки (страшный дефицит в те времена). А потом меня, сытого и согревшегося, директор проводила до квартиры, где мне предстояло жить. Квартира была натоплена специально к моему приезду. От такого приёма я чуть не разрыдался. Господи, думаю, да на что им так нужен ничего не умеющий студент? Вокруг меня так хлопочут, как будто встречают бесценного специалиста, а я вот возьму да и не сумею ни одного урока провести. Было тепло и страшно. Но удивления мои на этом не закончились.

Утром, едва я встал и, согрев чайку, начал уплетать печенье, которое мама напекла мне в дорогу, в дверь постучали.

На пороге стояла директор с буханкой хлеба в руках: «Я подумала, что у вас хлеба нет и позавтракать нечем. Возьмите, а картошки я вам вечером принесу». Не удивительно, что после всего этого к первому своему уроку я готовился больше четырёх часов.

Когда я провёл свой первый урок, мне показалось, что я занимался этим всю жизнь, в работе учителя, как выяснилось, было что-то очень естественное для меня. Я вышел из класса внутренне сияющий и подумал, что сейчас зайду в учительскую и скажу: «Поздравьте меня с первым уроком». Но в учительской на моё появление никто и внимания не обратил. На несколько секунд я растерялся от того, что нет оркестра, но сразу понял, что это даже здорово. Меня приняли, как своего. Учитель (полноценный учитель!) зашёл после урока в учительскую. На что тут внимание обращать?

Потом я понял, что с моими уроками далеко не всё гладко, есть безумного много самых разнообразных методических требований, и соответствовать всем почти невозможно. Но директор, присутствуя на некоторых моих уроках и утраивая потом «разбор полётов», всегда была очень деликатна и доброжелательна. Она никогда меня не ругала, я слышал от неё только тёплые материнские советы: лучше бы вот это в следующий раз сделать по-другому.

А по субботам ко мне приходил муж директора и отводил меня в баню. Они сначала сами мылись, а потом меня звали.

Скажите, хоть один из городских учителей когда-нибудь

испытывал на себе такую личную заботу директора школы? Я оказался среди людей, которые кружились вокруг незнакомого человека, словно это было самое дорогое для них существо. Я увидел людей совершенно другими глазами. Хотя глаза вроде бы оставались прежними, это люди были другие, но в том-то всё и дело, что уже и глаза начали меняться. Моё фантастическое путешествие в Исаково так же фантастически и продолжалось.

На поленьях смола, как слеза

В Исакове я полюбил одиночество. Приходил из школы, отдыхал, читал Ремарка, потом растапливал печку, готовил ужин – жаренную картошку или суп из пакетов с добавлением картошки. Газовой плиты не было, еду готовил на печке, на открытом огне. Для молодого горожанина в этом была бездна романтики. И всё это спокойно, не торопясь, под лениво журчащие мысли. А потом готовился к урокам.

Школа не выжимала, не выматывала. Я вёл уроки в двух классах, в одном из которых было 4 человека, а в другом – 6. Когда в классе заняты 2-3 парты, особых проблем с дисциплиной не возникает. Выдав русский язык и литературу, проводил ещё и физкультуру, что сводилось к тому, что мы просто катались с детьми на лыжах. Потом я шутил: мне платили деньги за то, что дети учили меня на лыжах ездить.

Я жил в здании интерната, в комнате с отдельным входом с улицы. До школы ходьбы было – 2 минуты, а потому и высыпался хорошо. Спокойные дни и безмятежные вечера, чистые детские глаза, Ремарк, потрескивание поленьев в печке в абсолютной тишине... Неделя летала за неделей.

Вечернее одиночество было обволакивающим и завораживающим, оно нисколько не тяготило, к тому же оно не было абсолютным. Ко мне иногда заходили гости – мои ученики. Сначала я просто не понимал этих визитов, думал им от

меня что-то надо, но потом понял, что им не надо от меня ничего кроме «любви и дружбы». Детишки стайкой толпились у порога и на все неоднократные предложения снять пальто и пройти в комнату, смущённо мотали головами. Привыкнув к этим «странностям», я просто сидел у печки и, глядя на огонь, отвечал на все их вопросы, сам о чём-нибудь спрашивал.

Однажды ко мне зашли местные молодые парни, где-то мои ровесники. Эти рассказывали о совсем других вещах. Например, о том, как до меня тут две студенточки жили, ну и сами понимаете. Понимая, что это уже не дети и должно же им от меня что-то требоваться, раз пришли, я предложил сходить за бутылочкой. Они с достоинством отказались. Побазарили ещё немного и ушли, на прощание сказав, что если кто-то обижать будет – чтобы к ним обращался. Но меня, как назло, никто не обижал.

Было полное ощущение того, что я попал в другой мир, где между людьми совсем другие отношения. И о том, что такое сельский учитель, представление сложилось прямо-таки пасторально-идиллическое. Директор школы, как родная мать – и подкармливает, и в баню зовёт. Ученики словно собственные дети, которые даже вечером не хотят с тобой расстаться. У меня там и бабушка была – пожилая воспитательница интерната, которая иногда заходила ко мне в гости, хотя по работе мы не соприкасались. Говорили о школе, о детях, о жизни. Мне кажется, она действительно смотрела на

меня, как на внука.

Помню, как после снежной ночи выхожу утром на крыльцо. Кругом всё занесло, а крыльцо чисто выметено. Видимо, кто-то из интернатовских детишек позаботился обо мне – от таких вещей просто слеза набегала. А где находятся школьные дрова, которыми мне велено было пользоваться, я так и не узнал. Мне регулярно привозил их на санках прямо к крыльцу один парнишка из интерната. Я несколько раз говорил, что мне ведь и самому не трудно за дровами сходить, только пусть он скажет, где их брать. А он отвечал, что ему это тоже не трудно.

Парнишка очень любил книги, особенно фантастику, а где её в то время было взять в глухом леспромхозовском посёлке? Я много рассказывал ему из того, что сам читал, а когда ездил в Вологду на побывку, специально для него взял в библиотеке Бредбери. Уезжая насовсем, подарил ему книгу из личной библиотеки. Помнит ли он обо мне? Думаю, что помнит.

Любой учитель, его образ, входит в чьё-то детство и остаётся там навсегда. Учеников имеют в более зрелом возрасте, когда перед глазами уже успели пройти сотни людей, когда встреча с новым человеком всё реже становится событием. Большинство учеников забывается. Они для нас, к сожалению, часто становятся просто работой, все подробности которой упомнить невозможно. А учитель для ученика – не работа, а жизнь, к тому же лучшая часть жизни – детство.

Я, наверное, был неважным учителем, но одну цель всегда твёрдо держал перед собой – не отравлять детям детство. Склонения и спряжения, которые мы вдалбливаем им порой с избыточным усердием, всё равно забудутся, но они обязательно запомнят на всю жизнь, какими мы были: добрыми или злыми, весёлыми или мрачными, мстительными или великодушными, справедливыми или не очень. Они потом обязательно, даже если невольно, будут тиражировать эти наши качества. Ведь от того, каким было детство, зависит вся последующая жизнь.

Наступил март, снег начал таять, и на лыжах мы больше не ездили. Мне сказали, что вместо этого мы с детьми теперь будем колоть дрова. Я пришёл в ужас. Когда я впервые в жизни увидел колун, то подумал, что топор какой-то совсем странный. А дети-то думаю как? Тоненькие девочки лет по 10-11 – и вдруг разделка дров. И тут я увидел, как ловко управляют с колуном мои девчужки. Любая из них, кажется, не тяжелее двух поленьев, а только щепки летят.

Долго не решался сам нанести первый удар. Боялся опозориться. И вот наконец... Полено от моего тщательно продуманного удара разлетелось, как в кино. Никто на это впрочем и внимания не обратил, а мне того и хотелось. Главное, что «лицо не потерял».

Каким вообще было моё лицо в глазах местных жителей? Ума не приложу. Даже не догадываюсь, как они меня воспринимали. Мне очень хотелось быть к ним ближе, стать своим,

но я тогда уже прекрасно понимал, что здесь не свой и своим никогда не стану. Не здесь я родился, не здесь и пригодился. И они, конечно, тоже это понимали. Им вовсе не надо было никак по отношению ко мне определяться. Я не произвёл революции в их жизни. Очередной практикант. А я вот помню их до сих пор даже лучше, чем себя тогдашнего.

Помню ещё, как ездил домой на побывку. К выходным добавилось 8 марта и за три дня вполне можно было съездить в Вологду. Мне сказали, что утром от гаража пойдёт автобус до Сямжи. У гаража собралась целая толпа, но, прождав часа полтора, мы узнали, что автобуса сегодня не будет. На следующий день мне ехать в Вологду было уже поздно, то есть получилось, что побывка сорвалась. В этом не было ничего страшного, перспектива отдыха в Исакове меня несколько не тяготила. Но я очень не люблю менять уже принятых решений, даже если возникают препятствия, которые кажутся непреодолимыми. Я и сейчас такой, а уж тогда – что и говорить. Уехать из Исакова было невозможно, но я сказал себе: «Всё равно уеду» и пошёл по дороге пешком, надеясь, что меня нагонит какая-нибудь попутка. Это было настоящим безумием, на тех дорогах случайных попуток не бывает. Это тупик. И ведь сам же стоял у гаража, видел, что ничего не едет. Но всё-таки я пошёл.

Отошёл я от посёлка пару вёрст и услышал у себя за спиной рёв мотора. Ко мне приближался ГАЗ-51. На взмах руки он остановился, но в кабине уже сидели трое и шофёр ска-

зал, что мол сам видишь. «А в кузове?» – спрашиваю. Шофёр с улыбкой пожал плечами: «Ну если хочешь...».

Стоял мороз. Стоя в кузове, я чувствовал себя, как в аэродинамической трубе. Казалось, что ветер влетает в грудь и вылетает из спины. Трясло безбожно. И так больше часа – 60 километров. Когда машина остановилась, выехав на шоссе, из кузова я почти вывалился, не чуя под собой ног. А здесь, на большаке, на оставшиеся до Сямжи 30 километров, попутку поймать было уже не трудно. Мы ловили её вместе с мужиком, который вышел из кабины, когда я покинул кузов. Он сказал мне: «Это я машину нанял. Еле уговорил шофёра. Если бы не уговорил, не знаю, что бы ты на дороге делал».

Возвращался я с этой побывки тоже весело. Теперь, всему наученный, я сразу с автостанции пошёл туда, откуда шли лесовозы. Захожу в какую-то каптёрку, там сидят полдюжины угрюмых мужиков. Спрашиваю: «До Гремячего подбросите?». Они молчат, не обращая на меня никакого внимания, как будто к ним в каптёрку муха залетела – не более того. Я растерялся, жду. Через некоторое время они выходят на улицу, я за ними. Тогда один из них мрачно бросил мне через плечо: «Ну чего встал, пошли». И я поехал на лесовозе. Но по дороге он сломался. Однако, теперь я был человеком, за которого шофёр взял ответственность, так что он тормознул идущий следом лесовоз, и я поехал дальше до Гремячего. А оттуда до Исакова было уже рукой подать – 16 километров – вечерняя прогулка перед сном. Правда, спать пришлось в

пальто, потому что комната была нетоплена, а топить печку уже не было сил.

Утром на урок ко мне пришла директор, как бы давая понять: твои выходные – это твоё дело, а к урокам ты должен быть готов всегда. Конечно, я не был готов, так что методическим недочётам в моём уроке не было числа. Директор потом их перечислила и мягко сказала: «А перед этим у вас уже довольно неплохо получалось».

Директор поставила мне за практику четвёрку. И даже извинилась: «Хотела пятёрку поставить, но начала в характеристике о недостатках писать и пятёрки уже не получилось». Я был растроган. По моему суждению, я хоть и старался, но никак не заработал больше тройка. А директор приглашала работать после института к ним. Мне эта идея понравилась. Думаю, от добра добра не ищут. И распределение я, когда заканчивал вуз, получил именно в Вожегодский район. Но в последний момент всё переигралось. В Исакове я больше никогда не был.

Дорога до школы

Я покинул Исаково в марте 1984 года, а в ноябре того же года, уже учась на четвертом курсе, поехал на вторую свою практику, опять в Вожегодский район. Но заведующая РОНО мне сказала, что мест у них нет. Да, дескать, подавали заявку, но так вышло, что все места заняты. Она ещё добавила: «Директор Исаковской школы о вас очень хорошо отзывалась». Это меня утешило. Значит, думаю, места нет не именно для меня, а на самом деле.

И я, как дурак, вернулся в Вологду. Руководитель практики сказала: «Поезжай тогда в Великоустюгский район». Мне что, я поехал.

В Великоустюгском РОНО меня направили в Еремеево. И даже попутчица нашлась – учительница Еремеевской школы, которая возвращалась домой. Доехали мы с ней без приключений, но поселили меня так, что я обалдел, несмотря на всю свою неприхотливость.

Это была крохотная комнатка в интернате с общим входом, то есть просто одна из интернатских комнат – в соседней жили дети. Общий с детьми туалет и умывальник. Чудный, кстати, умывальник – три раковинки в ряд. В комнате стояли кровать, стол, стул. Никаких излишеств. Не было даже розетки, то есть ни побриться, ни чайку согреть. Здесь не было даже печки. То есть печка из соседней комнаты од-

ной стенкой выходила в мою. Я даже не мог её сам натопить, когда хотел.

Предполагалось, видимо, что от печной стенки будет достаточно тепло, но при нормальных морозах на улице она была почти холодная. В комнате стоял лютый дубак без малейшей возможности улучшить ситуацию. На мне было два свитера, но я понял, что и пальто на ночь снимать не придётся. Так в пальто я и забрался под ватное одеяло, а всё равно не согрелся. Значит, думаю, тут и для детей почти не топят. Дрова экономят посреди леса. Дети в таких условиях, вне всякого сомнения, вырастают особенные, но я-то уже вырос и не особенным, а вполне обычным человеком.

Я решил, что уровень аскетизма тут немного зашкаливает, о чём и сказал с утра директору школы. Директор, мужчина-физрук, немного даже виновато кивнул: «Да, я понимаю. Мы бы девушку могли очень хорошо разместить, а вот парня, к сожалению, только так». Я был рад, что он не счёл меня излишне привередливым. Мы дружелюбно попрощались, и я пошёл. Так Еремеево и не вошло в мою судьбу. А жаль. Хорошее название.

Я пошёл пешком в Усть-Алексеево, там было, кажется, километров 7, что по тем временам я вообще за расстояние не считал. Пританцовывать на морозе в Усть-Алексееве пришлось не очень долго, подъехал автобус, и вот я уж снова в Велоустюгском РОНО. Здесь меня очень даже поняли, сказали, что подберут другое место, а пока на ночь дали койку

в каком-то общежитии.

На следующей день мне расписали такую схему: «Поезжай сначала в Котлас, оттуда в Суоловку, а там до посёлка Северный – 7 км по узкоколейке». После Исакова у меня уже появились первые признаки заматерелости, а потому я не удивился необходимости двух пересадок с выездом в соседнюю область – это чтобы добраться от точки до точки внутри одного района.

Вот я уже еду из Котласа в неведомую мне Суоловку. Поздний вечер, за окном пригородного вагона не просто темно, а как будто окно чёрной бумагой заклеено. Станции, как известно, не объявляют, где и когда выходить – решительно невозможно понять. Я спросил у сидящего рядом тщедушного мужичка, когда Суоловка будет. Он сказал, что сам туда едет, вместе нам, стало быть выходить. Потом он начал меня расспрашивать, кто я такой и куда добираюсь. Статус студента-практиканта вызвал у него отношение самое почтительное. Он стал рассказывать мне о Северном, о школе, о местном житье-бытье, а потом говорит: «Зачем вам сегодня в Северный идти, лучше у меня переночуем, а утром вместе до вашей школы по узкоколейке доберёмся. Я электрик, мне завтра как раз туда надо». Я долго отказывался и отшучивался: «Семь вёрст – не крюк для бешеной собаки. Дойду и сегодня пешком». Но он уговорил меня, и я до сих пор ему за это благодарен. Трудно сказать, чем закончились бы эти 7 вёрст по морозу, в непроглядной темноте, по чу-

довишной и совершенно незнакомой дороге. Наши русские дороги многих вогнали бы в гроб, если бы не замечательные русские попутчики. В жизни всё уравновешено.

Его жена встретила нас настолько любезно, как будто муж не чужого человека в дом привёл, а отыскал наконец давно потерянного брата. Меня прекрасно накормили, а когда стали укладываться, хозяин сказал: «Места у нас маловато, вы на кровати ложитесь, а мы с женой – на полу». Это, по моим меркам, превзошло все мыслимые представления о гостеприимстве. От кровати я решительно отказался, и непродолжительная битва за место на полу увенчалась моей победой.

А поутру мы с ним вместе добрались до Северного, и он с рук на руки передал меня директору школы.

Продлёнка

Северный – большой леспромхозовский посёлок, примерно такой же, как Исаково, а может ещё и побольше. В школе мне дали в придачу к 2-3 ежедневным урокам русского языка и литературы ещё и продлённую группу. И вот эта-то самая продлёнка совершенно отравила мою жизнь в Северном. Школа была деревянная, одноэтажная, но не сказать, что очень маленькая – врезались в память длинные коридоры. И вся эта школа тёмными непроглядными вечерами целиком оставалась на меня одного. Больше никого из взрослых не было во всём здании. Конечно, справиться с ребятами 4-6 классов было не так уж сложно, хотя и в этом опыта не хватало. Массовик-затейник из меня был неважный, дети, может быть, иногда скучали, хотя помнится, временами я их очень увлекал своими рассказами о том, о сём.

Но самым тяжёлым обстоятельством были восьмиклассники, вовсе не обязанные ходить на продлёнку, однако, всё равно сползавшиеся вечером в школу, чтобы повалять дурака. Они устраивали дикий крик и беготню по коридорам и спокойно вели себя только там, где я находился, а находиться я мог только в одном месте. Вся остальная школа превращалась таким образом в территорию беспредела. Хотелось плакать навзрыд от ощущения полного своего бессилия.

Один раз я сорвался. Схватил в коридоре за грудки само-

го наглого восьмиклассника, позабывшего уже всякие приличия, грубо прижал к стенке его тщедушное тельце и процедил сквозь зубы: «Если ещё раз – я тебя пришибу». Он ответил очень спокойно, с наглой ухмылкой: «А ты знаешь, что потом с тобой будет?». Мальчишка «на ты» угрожал учителю. Причём, я хорошо понимал, что это отнюдь не пустая угроза. Его старшие друзья могли в два счёта отметелить меня на тёмной улице. Но после этой угрозы гнев сразу схлынул – разговор приобрёл хотя и хамский, но вполне конструктивный характер. Я ему тогда говорю: «Прекрасно знаю, что со мной потом будет. Но это будет потом. А тебя я пришибу сейчас». Этот сюжетный поворот, кажется, произвёл на него впечатление, нагловатая улыбочка исчезла.

И всё-таки я не чувствовал себя победителем. Я потерял лицо. Учитель, которого вывели из себя, становится смешным. Он расписывается в собственной слабости. Не удивительно, что, когда я пошёл домой, сзади из темноты раздался смех, и в спину мне подряд полетели два снежка. Дескать «попробуй догони». К горлу подступил комок, я даже не обернулся.

Самым страшным на продлёнке было то, что эта шпана постоянно вырубала электрический рубильник. Вся школа погружалась в кромешную тьму, поднимался невообразимый визг. Чиркая спички, я медленно шёл к рубильнику, а это было далеко от класса, где мы сидели. Можно представить, сколько подолов было задрано в темноте, пока свет

снова загорался. Знаю я этих акселератов. Ощущение своей полной неспособности защитить нормальных детей было чудовищным. Днём пришлось сказать классной даме восьмиклассников: «Можно сделать так, чтобы ваши на продлёнке не появлялись?». Она ответила: «Можно», но только ничего не смогла или не захотела сделать. Шпана так и продолжала скапливаться в школе каждый вечер. Я понял, что жаловаться бесполезно.

Когда свет погас очередной раз, я подошёл к рубильнику и увидел, что он сломан. Эти коротышки не могли дотянуться до рубильника и вырубали его палкой от швабры, да и ткнули, видимо, посильнее. Одна девочка предложила сбежать за электриком, я её отправил, а всех остальных отпустил домой.

Пришёл электрик, свет загорелся. Сидя в опустевшей школе, я пил чай в учительской. Его там прямо в электрическом чайнике заваривали с какими-то травами, а дома у меня такой роскоши не было. Неожиданно в учительскую зашёл тот самый восьмиклассник, с которым я однажды очень жёстко столкнулся. Он вежливо поинтересовался, что я намерен предпринять после всего произошедшего.

– Докладную напишу, – с равнодушным безразличием сказал я.

– Не делайте этого, – в его голосе появилась мольба.

– Могу и не делать, если ты мне приведёшь того, кто рубильник сломал, а мы с ним сами разберёмся.

– Это я сделал, – он виновато опустил глаза. – А у меня уже два привода в милицию. Если ещё что-то – могут в колонию отправить.

Вот ведь, думаю, шпанёнок. На жалость бьёт. И пожалеть его должен именно тот, над кем он уже которую неделю издевается.

– Хорошо, – говорю, – я не буду тебя закладывать. Но ты мне должен пообещать, что пока я здесь работаю, свет на продлёнке ни разу не потухнет.

– Я этого больше делать не буду, но вдруг кто-нибудь другой, как я поручусь?

– А меня не колышет, ты или другой. Докладную-то я на тебя напишу. Так что хоть дежурь у рубильника. Это теперь твои проблемы.

На том мы с ним и порешили. Свет больше ни разу не погас. Собственно, это было очень далеко от приёмов классической педагогики и скорее походило на практику зоны, когда припомощи шантажа используют авторитетов для наведения порядка. Я действовал, исходя из реальности, а реальность требует и даже вынуждает использовать те методы, которые наиболее эффективны. Вот только не сам ли я эту реальность и создавал?

Помню, как сидел на продлёнке в классе, окружённый стайкой ребятишек с горящими счастливыми глазами, и рассказывал им обо всём на свете. Казалось, вот так век свой сидел бы с этими милыми замечательными детьми.

Помню, как шёл по тёмному коридору с мрачной решимостью кого-нибудь придушить. А в голове вертелось: ещё немного и я окончательно сорвусь. Сидеть мне в тюряге.

Уже тогда я понял очень простую вещь: для того, чтобы быть хорошим учителем, ничего не надо, кроме одного – любить детей. Причём, плохих надо любить ещё больше, чем хороших. Это невероятно трудно, но в этом не только искусство педагогики, но и искусство жизни вообще. Школа – концентрированное выражение жизни. Дети чувствуют гораздо тоньше, чем взрослые. Учительская любовь обязательно к педагогу вернутся, хотя может быть и не сразу, придётся попотеть. И ненависть тоже вернётся. Причём сразу. И тогда нашей единственной реальностью станет реальность зоны.

Я проводил последние свои уроки в Северном. Одна девочка, загадочно улыбаясь, сказала мне:

– А вы сегодня какой-то не такой.

– А какой? – я даже растерялся.

– Весёлый... – девочка продолжала загадочно улыбаться.

Видимо, такой я ей больше нравился.

Мне стало грустно. Это была самая неутешительная оценка моей практики. Я был весёлый, потому что завтра уезжал домой, потому что покидал Северный навсегда. Девочка, не желая того, сказала мне, что я не был таким, каким они хотели бы меня видеть. Я не радовался им так, как обрадовался расставанию с ними. Это был очень горький урок.

Серебро на берёзах

В Северном меня сначала поселили на квартире у бабушки с дедушкой. Там я не знал ни забот, ни хлопот – печку топить не надо, еду готовить тоже – живи и радуйся. Но спокойно не жилось. Когда через 4 дня мне предложили на выбор: либо остаться здесь, либо перебраться на отдельную квартиру, я выбрал последнее. Свобода, дескать, дороже. Вскоре я этой свободой чуть не подавился, как это всегда и бывает.

В отдельной квартире были голые стены. Выдали мне на складе стол, стул, кровать, постельное, ведро. И всё. В деревенской жизни самой по себе нет ничего страшного, потому что быт сельских жителей обустроен до мелочей и достигается это годами. Но если выприехали ненадолго, если вселились в четыре стены, и для вас решительно нет смысла обзаводиться бесчисленным множеством совершенно необходимых хозяйственных мелочей, тогда вам предстоит жизнь дикаря, что далеко не каждому по вкусу и по силам.

Ведро, например, было лишь одно, а колодец довольно далеко. Стало быть, ходить туда надо было в два раза чаще, чем, если бы было два ведра. Помойного ведра не было вообще, и рукомойника – тоже. Умывался из кружки над тазом. В этой же эмалированной кружке грел воду, потому что чайника не было, причём грел на печке, потому что ни плитки, ни кипятильника тоже не было. Поскольку утром печку не

топил, то оставался без чая и уходил в школу, съев кусок хлеба с холодной водой.

Нельзя сказать, что обо мне никто не заботился. Одна местная учительница время от времени приглашала на блины, но я старался не злоупотреблять её гостеприимством. Один добрый человек дал в пользование маленькую сковородочку, подарил ведро картошки и поллитровую банку топлёного свиного сала. Это были для меня сокровища, но ведро картошки я по неопытности оставил на ночь в коридоре, и это в 30-градусный мороз. Естественно, на следующий день занёс в дом уже «бубенцы». Этой-то перемороженной гниющей картошкой я в основном и питался. Жарил её, но сковородка была такой маленькой, что порция получалась воробьиной, да к тому же этого гнилья много всё равно было не съесть.

Обедал в школе, но, имея такие ужины, был постоянно голодным. Тогда я узнал, что голодному очень трудно уснуть, но научился обманывать голод. До сна терпел, а прямо перед тем, как лечь спать, съедал ломоть хлеба с холодной водой. Когда обрадованный желудок успевал понять, что больше ничего не получит, я уже спал.

Тогда я часто вспоминал рассказы отца о его голодном детстве. Это помогало понять, что моё положение очень даже не плохое. Подумаешь, картошка гнилая, хорошо хоть такая есть. Ну и что, если хлеб без масла? Он ведь испечён из качественной пшеничной муки, без всяких там опилочных

примесей.

Иногда вечером ко мне заходил дедушка-сосед. Трезвым мне так ни разу и не довелось его увидеть. Он подолгу сидел, изводя меня своим пьяным трёпом. Почти каждый раз предлагал: «Пойдём ко мне жареное мясо есть». Мне очень хотелось кушать, от слова «мясо» текли слюни, но я отказывался, говорил, что только что поужинал, думая про себя: «Был бы ты трезвый, я бы конечно с тобой пошёл, а когда ты явишься домой пьяный, да ещё с посторонним человеком, как бы от твоей старухи дыра вместо мяса не схлопотать».

А его жена каждый раз мне потом говорила: «Опять мой пьяный дурак вчера вам надоедал? Не пускайте вы его». Интересно, как я мог его пустить, если у меня дверь изнутри не запиралась. Снаружи был навесной замок, а изнутри даже маленького крючочка не было. Ко мне хоть посреди ночи любой человек с улицы мог зайти.

В магазинах полки в те годы были пустые, к тому же я был очень стеснён в деньгах. Авансов здесь никто не выдавал, а когда подошёл день получки, меня просто забыли включить в ведомость, и я не получил ни копейки. Занял немного, но больше занимать было неловко. Под какие гарантии, если все знали, что я скоро отсюда уеду?

Когда я вселился в отдельную квартиру, немного дров здесь было, но за неделю они закончились. Несколько раз говорил директору школы, что у меня дрова на исходе, она с пониманием кивала головой. Потом сказал, что дрова со-

всем закончились. Она спокойно ответила: «Возчик заболел, не привезти никак». Такая постановка вопроса поразила меня в самое сердце. Информация о том, что водитель кобылы занемог, никак не могла меня согреть в 30-градусный мороз. Причём, никаких выходов из ситуации предложено не было. Надо было самому что-то придумывать.

Вернувшись вечером из школы, я прихватил с собой банку тушёнки, которая была у меня в «НЗ», и пошёл к бабушке, у которой вначале жил. Она приняла меня радушно, кровать постелила, а я ей говорю: «Бабушка, давай картошку с тушёнкой жарить. У меня тушёнка есть». Она ответила: «Спрячь свою тушёнку и садись за стол». Накормила меня очень вкусно и до отвала. Добрая женщина.

Дров мне привезли. Не колотых, правда. Их к тому же в одну ночь занесло снегом. Так заровняло, что и следа не осталось. Я приходил с продлёнки поздно, когда на улице была уже кромешная темнота. Искал, ничего не видя, под снегом дрова, колот их, топил печь, жарил свою гнилую картошку, ел и падал на кровать без памяти. Так продолжалось неделю, пока в воскресенье не переколол все дрова.

По воскресеньям я был лишён и обедов, которые имел в школе. Один раз в выходной я понадеялся на леспромхозовскую столовую, которая, кстати, была довольно далеко от дома. Но столовая оказалась закрыта, а у меня дома – хоть шаром покати. Вернувшись домой, я стал плотоядно поглядывать за печку. Там, в грудe мусоравалялся давно испорчен-

ный остаток колбасы в полиэтилене, которая была ещё с Вологды. Извлёк её, срезал толстый слой плесени, долго жарил, а потом ел – давился и радовался.

Сейчас откопал тетрадку с дневниковыми записями, которые делал в Северном, и прочитал: «В этом много мудрой радости – «завоевать пространство воздуха, которым дышишь по своему усмотрению» (А.Блок). В плане духовном сократить свою зависимость от внешнего мира мне никогда не удалось, а в плане материальном – да. Сегодня я своими руками и мучениями, заледеневшими и онемевшими ногами создал свой островок тепла в море холода. Я изолирован этим морем холода от всего внешнего мира и веду себя на своём личном пространстве, как мне вздумается. Но в изолированности этой нет никакой безысходности. Ведь захоти я, и через 10 минут путешествуя через лютую стужу, буду уже в гостях. Нет, сегодня буду спать».

А ниже была запись: «Темно-синее поле неба инкрустировано рубиновым полумесяцем. На ветках берёз – серебро, которое вспыхивает разноцветными искорками. Это серебро на тонких ветках – несказанность, волшебность повседневности. Радость жизни найдёт, с чем вернуться. Только умей видеть, и тебе покажется, что ты живёшь в сказке».

Что ни говори, а голодный романтик – это романтик вдвойне.

Помню, как навсегда покидал посёлок Северный. Добрался через Сусоловку до Котласа, взял билет на Вологду. До

поезда было ещё 4 часа, и я зашёл в вокзальный ресторан. «На последние без сдачи» заказал двойную порциюпельменей и 300 граммов водки. Ел человеческую еду, пил, хмелел и радовался тому, что сижу за столиком один. Особой радости я тогда не испытывал, на душе было как-то пусто. Зачем я вообще поехал в Северный? Ведь не гнал же меня туда никто. Но ни тогда, ни позже я ни минуты не жалел, что оказался там. Я провёл в Северном всего 5 недель, но эти 35 дней на всю жизнь объяснили мне великую цену куска хлеба и полена дров. Я хотел получить пару уроков? Я их получил.

Вдоль края

В первый же день моего пребывания в Северном, мне рассказали, что до меня тут проходил мой товарищ. Он переночевал в Северном и отправился дальше (мы с ним поехали не вместе, потому что я сначала поехал в Вожегу). Я чуть не рассмеялся от этого известия. Его, стало быть, отправили «дальше по этапу», а местные жители помнят, как он тут проходил. Нас гнали одного за другим, как арестантов. И я решил сходить к нему в гости.

Его загнали в Первомайское, это было в 25-и километрах от Северного. Никакого рейсового транспорта тут, конечно, не было. Время от времени по этой дороге что-то ездило, но не тогда, когда мне было надо, так что у меня был только один вариант – идти пешком. И это меня ещё больше разве-селило.

В субботу продлёнки не было, я отвёл свои уроки, затоварился портвейном и пошёл. Благополучно нашёл выход из посёлка, на всякий случай уточнил у встречного старичка в правильном ли направлении иду и бодро зашагал вперёд по хрустящему снегу. Услужливый старичок всё ещё что-то мне объяснял, но я уже не слушал его. Я шёл. Время – полдень, курс ясен, к закату поспею.

Вначале дорога была похожа на тоннель между мрачных вековых елей. Из леса слышался истошный вой бензопилы,

а когда она смолкала – нестройная, отрывистая матерщина. Эти звуки напоминали мне, что я ещё недалеко ушёл от посёлка. Но скоро всё стихло, ели на обочине расступились, как будто предлагая дороге пролегать, как ей вздумается. Пользуясь предоставленной свободой, дорога круто берёт вверх. Весело, азартно и быстро захожу на холм, с которого открывается вид на несметное войско богатырей в острокопечных тёмно-зелёных шлемах. Тайга самая настоящая.

Дорога тянулась уже второй час, беспечная весёлость начала понемногу выветриваться. На седьмом километре пути должна была, как мне сказали, появиться деревня Ивановская, но её всё не было. В душу потихоньку начало закрадываться тоскливое предположение, что я пошёл не по той дороге, но я всё равно шёл вперёд, потому что ничего другого просто не оставалось. Пошёл третий час пути, и ни разу на дороге не встретила ни одна машина, не говоря уже о пешеходах – их здесь вообще не бывает, местные жители не страдают романтизмом.

Но вот над зубчатой кромкой леса отчётливо обозначился церковный крест, предвещающая близость человеческого жилья. Через пару километров из-за поворота наконец показалась сама церковь. Но стояла она на опушке в гордом и стоическом одиночестве, девственное снежное поле, не запятнанное следами, отделяло её от края леса. Было что-то мистически жуткое в том, что церковь стоит вдали от человеческого жилья. Позднее я передал впечатления от этой картины в

последнем своём стихотворении. «Тот, кто сбросил колодки, не ищет дороги обратно...».

Мне казалось, что я иду вдоль самого края обитаемого мира. По пути стали попадаться брошенные деревни. Чёрные полуразваленные избы на белом снегу. И никаких тропинок, никаких следов между нами. Окна с выбитыми стёклами, как мёртвые глаза, в которых не тает снег. И вороньё, сидящее на этих зловещих трупах жилых домов. Но в этом заброшенном мире был какой-то магнетизм, он не только пугал, но и манил к себе. Мне казалось, что я попал на просторы погибшей цивилизации, оказавшись среди таинственного, почти мистического безмолвия. Много лет спустя я очень хотел побывать здесь летом, чтобы побродить среди руин затерянного мира, но не срослось.

Вот я шёл уже 3 часа, то есть отмахал уже километров 15. И дорога вдруг неожиданно кончилась. Просто исчезла и всё. Я встал, совершенно не зная что делать. На этой дороге у меня не было другого выхода, кроме как идти вперёд, но теперь мне было больше некуда идти. Здесь нет людей, здесь нельзя спросить дорогу. Здесь невозможно узнать, где ты вообще находишься. При этом зимняя дорога – вещь совершенно особая. На этой дороге нельзя отдыхать.

Я растерянно вертел головой вокруг себя. На заброшенные дома у обочины я давно уже внимания не обращал. И вдруг я заметил, что в ближайшем ко мне доме стёкла в окнах целые. Кажется, дом был жилой. Я решил это проверить

и действительно обнаружил внутри дома вполне живую старушку, которая была к тому же говорящей, что было особенно для меня важно. Старушка объяснила мне, что до Палемы отсюда 4 километра, и выведет меня туда тропинка за её двором, которую с дороги не видно.

По тропинке я шагал уже бодрее, с лёгкой душой, хотя и с тяжёлыми ногами. Курс оказался верным, и судьба канувшей в небытие деревни Ивановской меня больше не интересовала. Стемнело и на смену жизнеутверждающему визгу бензопилы пришёл тоскливый вой волков. Когда я собирался в дорогу, меня предупреждали, что волки в этих краях чувствуют себя довольно уверенно, а порою совершенно бестактно пристают к людям. Мне сказали, чтобы я взял с собой побольше спичек. Дескать, если будут приставать, надо чиркать спички и бросать в них, они этого не любят. Спичек я взял несколько коробок, но угроза быть разорванным волками, почему-то не казалась реальной. Наверное, потому что я никогда в жизни не видел ни одного серого.

Вскоре и Палема, довольно обширный посёлок, осталась за спиной. Предстоял последний 7-километровый рывок. Чувство времени я потерял совершенно, в темноте стрелки на часах уже не были видны. Пытался чиркать спички, чтобы посмотреть на часы, но вскоре мне это надоело. Днём эту дорогу пользовали лесовозы, машины необузданные и свирепые, а потому вся она была в ямах и рытвинах, а в темноте я узнавал об очередной из них, уже поднимаясь с земли.

Ноги всё более охотно сгибались и всё менее охотно разгибались. А впереди была река Луза.

Меня ещё в Северном предупреждали, что Луза может стать для меня проблемой. Дело в том, что мост через неё был только понтонный. На зиму этот мост убирают и ходят по льду. Тогда стоял конец ноября, мост уже могли убрать, но мороз стоял совсем лёгкий, река явно ещё не успела встать. И не переплывёшь – холодновато. Плакал бы я тогда на берегу Лузы горячими слезами. На таких дорогах ставишь на кон жизнь. Это меня, наверное, и привлекало больше всего.

Мост оказался на месте. Одинокие льдинки плавали в чёрной воде. Невольные мурашки пробегают по спине, когда подумает, что поскользнувшись на мосту, можешь оказаться в столь непривычной для зимы водной стихии.

Я всё шёл и шёл в крошечной темноте. Вдруг впереди забрезжило, разрастаясь, матовое жёлтое зарево. На фоне иссиня чёрного неба этот святающийся полукруг с нижней границей – горизонтом, казался чем-то волшебным. Да разве можно назвать обычными отсветы ещё невидимых огней человеческого жилья? От них пахнет дымом, молоком, навозом, особой сухостью хорошо протопленной зимней избы и многими другими вещами, близость которых так желанна для путника. Первым звуком, донесшимся из деревни, был лай собак. Жизнерадостное тяфканье лаек и дворняжек покажется вам слаще любого тенора, после того, как вы наслушались унылого нытья волков.

Я зашёл в деревню Первомайскую. Предстояло решить последнюю проблему – найти своего товарища. Не так-то это было просто. Людей на улице не было вообще. Здесь не ходят по улице тёмными непроглядными вечерами. Это ни за чем не надо. Я зашёл в первый попавшийся дом. Но и там людей не оказалось. Сел на лавку. Мне так хотелось сесть на лавку после такой дороги. Сижу, думаю, хозяева скоро вернуться, если даже свет в комнате не выключили. Насидевшись, вышел во двор, ещё походил, и вот хозяева подтянулись.

«Где, – спрашиваю, – живёт молодой учитель, который к вам недавно приехал?». «Это... как бы тебе объяснить... а вот видишь фонарь горит? Этот фонарь стоит у самого дома, который тебе нужен».

Ориентир был очень внятный, перепутать его было не с чем, потому что фонарей вокруг было не лишка. Получалось, как у Окуджавы: «Иди на огонь, моя радость, найдёшь без труда». Если человек ничего вокруг себя не видит, то к фонарю он идёт по прямой, а это бывает не самая удобная дорога. Я ещё несколько раз упал и вот наконец добрался до нужного дома, у дверей которого меня чуть не разорвала совершенно сумасшедшая собака.

Мой товарищ жил у бабушки, которая посадила свою собаку на цепь и с большим недоверием впустила меня в дом. Товарищ, увидев меня, чуть ли руками не замахал. Думал – приведение. Он ведь знал, что я сейчас должен работать в Вожегодском районе. И я действительно там был. А потом

оказался здесь. Одно слово – привидение.

Пару лет назад я брал интервью у кандидата у главы одного из наших довольно глухих районов. Он рассказал о том, что очень серьёзной проблемой района является расселение-леспромхозовских посёлков. Их в своё время построили там, где был лес, потом лес вырубил и людям теперь негде работать, а другого жилья у них нет. Их надо как-то расселять. Сейчас леспромхозовских посёлков уже не строят, лес вырубает, работая вахтовым методом. И раньше тоже можно было работать вахтовым методом, строительство этих посёлков – большая ошибка. «Вы представляете, что такое леспромхозовский посёлок?» – спросил меня кандидат в главы. Я кивнул.

От звонка до звонка

В деревне у меня была убогая квартирка в маленьком щитовом домике. Шёл март 1988 года. Мой последний март в этой деревне. Вечером, истопив печь, приготовив ужин и уничтожив его, я лежал на койке с книгой. В изголовье стоял стул, на который я бросил сигареты.

Неожиданно где-то над потолком послышались шорохи, непонятного происхождения. Я спокойно прислушался к ним, не имея никаких предчувствий. Но почти сразу же над головой раздался гром... Потолок был зашит четырьмя большими листами ДВП. Лист, который находился над моей кроватью, сорвался с места, увлекая за собой всё, что на нём лежало сверху. Свистнув кромкой у самого носа, лист слегка раскроил кожу на руке, которой я даже не успел прикрыть голову. Битый кирпич долбил по ногам. Потолочная балка, ударив по стулу, разнесла его в щепки. Всё это произошло за несколько мгновений.

В комнате вместе с облаком пыли водворилась первоначальная тишина. Немного полежав под кирпичами, я встал и совершенно спокойно начал искать сигареты. Закурил, оглядел комнату и усмехнулся: если бы балка, падая, взяла на 20 сантиметров влево, вместо стула оказалась бы расколота моя голова. Стало быть, поживём ещё. Я окончательно расхохо-

тался.

Следом за осевшей пылью, квартиру наполнил бодрый мартовский мороз. Расчистив кровать, я надел свитер, пальто и, укрывшись стёганным одеялом, лег спать. Оказывается, в шиферной крыше тоже были дыры. Как, однако, забавно лежать в собственной кровати и смотреть на звёзды.

Ближе к финалу моей послевузовской отработки в школе что-нибудь подобное обязательно должно было произойти. Тут была своя логика, непонятная, но от этого не менее железная. Три года работы учителем в Лежской средней школе Грязовецкого района были для меня а своём роде затяжной нескончаемой аварией.

Через 4 месяца после обвала потолка мне отдали трудовую книжку. Щёлкнул замок в непробиваемых дверях, за которыми меня ожидала свобода. Теперь я мог работать, где захочу. В голове вертелось: «Три года от звонка до звонка». Так говорят, покидая зону. Мне не известно, какие звонки звонят за колючкой, а вот школьные звонки я выслушал все, какие было положено. И был первый звонок, и был последний.

На тех, кто после вуза отрабатывал свои положенные 3 года, КЗоТ не распространялся. В течение этого срока мы не имели права уволиться. То есть у нас было законное право

на увольнение, но не было фактической возможности. КЗоТ тогда прятали от людей, как антисоветскую литературу. А если работники не знали своих прав, силу закона приобретала любая «указивка» сверху. Сказано 3 года, значит 3 года.

Однажды я по какому-то поводу повздорил с завучем и сказал ей: «А я вообще не учитель, я крепостной крестьянин. Загляните в учебник истории, там очень понятно растолковано, почему подневольный труд не может быть эффективным».

Впрочем, тогда уже была понятна одна простая истина: за всё надо платить. Мы расплачивались за бесплатное высшее образование. Мы отдавали свой долг государству. Государство нас обучило, а мы 3 года работали не там, где хотели, а там, где это было больше всего необходимо, то есть на селе. И я отдал свой долг, как мог. Моя совесть чиста. А ведь это совсем неплохо.

Где-то на рубеже веков у меня вдруг прорезалась склонность к написанию автобиографических заметок, но про Лежу я почему-то ничего не писал, как будто меня что-то останавливало. Один раз уже начал писать, но всё закончилось тем фрагментом, который приведён выше. Дальше как-то не пошло. Может быть, тогда было рано. А теперь вот взялся. Прошло 26 лет с того момента, как я уволился из Лежской

школы. Да, пожалуй, уже можно о чём-то вспомнить.

На замещение я в своё время рвался, это была возможность развеять тусклые студенческие будни, а вот после института я совершенно не хотел ехать на работу в деревню. И учителем работать я тоже не хотел. Уже понял, что это не моё. Я даже не знал ещё, кем хочу работать, но уже был уверен, что не учителем. И деревню я никогда не любил, потому что я по своей сути – горожанин. Но предстояло отпахать 3 года там, где не хотел, тем, кем не хотел. Это наполняло душу ужасом.

В Лежу мы поехали вместе с женой через месяц после свадьбы. Первый год прожили и отработали там вместе, а на выходные уезжали в Вологду. Иногда приезжали на ночь даже на неделе. Лежа – всего 60 км от Вологды, полтора часа езды на пригородном поезде. Вечером можно было уехать домой и быть в городе уже где-то в 18 часов, а утром – отправится обратно на 7-часовом поезде – мы как раз успевали к первому уроку, который начинался в 9 часов. Такая близость к Вологде и транспортная бесппроблемность мне на моих замещениях в медвежьих углах и не снилась. Мы фактически наполовину жили в Вологде, то есть совершенно не успевали обезуметь от деревенской тоски. Хотя из Вологды в Лежу был только один утренний поезд, а автомобильной дороги не

было вообще, то есть ни автобусов, ни попуток. Только один поезд.

Через год у нас родился сын, и почти одновременно с этим появилась своя квартира в Вологде. В Леже я остался работать один. Решил, что каждый день буду ездить домой к жене и сыну. Отец сказал мне: «Ты не выдержишь». Я ответил: «Посмотрим». Я выдержал. Впрочем, с небольшой для себя поблажкой: две ночи в неделю я всё-таки проводил в Леже – отсыпался.

Вечером я приходил домой в начале седьмого. Раньше часу ночи никогда не ложился, а бывало и позже. Когда наш маленький сынишка засыпал, мы с женой подолгу сидели на кухне, болтали обо всём на свете. Это было замечательно. Вот только вставать надо было в 5:20 утра, на сон я имел всего 4-5 часов. На троллейбусе до вокзала – полчаса, и вот ближе к 7-и я уже в вагоне, который стал для меня тогда вторым домом. Ложился на жёсткую полку, клал сумку под голову, а зимой накрывался полушубком и спал ещё часок.

Эта езда выматывала ужасающе, в голове постоянно стучали колёса. Помню, как-то стою на подножке поезда, подъезжающего к Леже, а в душе почти отчаяние – не могу больше. И вдруг в сознании всплыла строчка из Высоцкого: «Но плевать я хотел на обузу примет, у него есть предел, у меня его нет, поглядим, кто из нас запоёт, кто заплачет». И сразу же на губах появилась весёлая злая усмешка: «У меня нет предела. Я всё выдержу».

Через год у жены закончился декретный отпуск, ей надо было выходить на работу в Лежскую школу. Но мы не могли себе представить, что в нашей хибарке можно жить с годовалым ребёнком. Я поехал в Грязовецкий РОНО решать эту проблему. Заведующим РОНО был жёсткий элегантный мужчина – совсем не сельский типаж. Я говорю ему: «Отпустите мою жену, у нас там нет условий жить с маленьким ребёнком». Отвечает: «Пусть ваша жена выходит на работу, и вам дадут квартиру получше. Разве вам в этом уже отказали?». Я сник. Чем тут было крыть? Не хотели мы ребёнка в Лежу вести, хоть бы там была и благоустроенная квартира, и мне возвращаться в деревню совсем не хотелось. Говорю: «Ведь речь идёт всего про год, много ли смысла нам ради этого квартиру давать? А я бы и со старой квартирой доработал». Он усмехнулся: «Думаете, я не понимаю, чего вы хотите? Я отпущу вашу жену, а вы поднимите крик, что я семью разрушаю, чтобы я и вас тоже отпустил».

Откровенно говоря, у меня была мысль сделать так, чтобы не отрабатывать в Леже третий год. В крайнем случае, можно было плюнуть на трудовую книжку, оставить им её на память, устроиться в Вологде на работу и завести новую. Но у меня, конечно, не было коварного замысла сначала вытащить из деревни жену, а потом обвинить Зав РОНО в том,

что он разрушает семью, не отпуская мужа к жене. Я даже не догадывался, что получил бы право такое требовать. И я сказал ему совершенно искренне: «Мне это и в голову не приходило». Он улыбнулся: «Предлагаю джентльменское соглашение: я отпускаю вашу жену, а вы даёте мне честное слово, что доработаете третий год до конца и не будете предпринимать попыток уволиться раньше».

Мне понравилась такая постановка вопроса. «Если вы готовы поверить моему слову, то я его даю». Он тут же издал приказ об увольнении моей жены по собственному желанию и вскоре ей выдали трудовую книжку. А я оказался ещё на год прикован к Леже честным словом, крепче, чем цепью.

Через год я опять появился в его кабинете теперь уже для того, чтобы уволиться самому. Не успел я и рта раскрыть, как он тут же широко улыбнулся: «Я всё помню. Вы сдержали своё слово. К вашему увольнению препятствий нет». Это был триумф человека, слово которого что-то стоит.

Как часто мне казалось, что этот день никогда не придёт, что мой срок никогда не закончится. Я совершенно не чувствовал вкуса к работе. Мне не нравилось быть учителем. Помню, как-то зашёл в класс, посмотрел на детей, и меня обожгла мысль: «Они ведь не хотят учиться, они сейчас предпочли бы оказаться где угодно, только не здесь. И я не

хочу их учить, и я сейчас хотел бы оказаться в каком угодно месте, только не в этом классе. Но они сюда пришли. И я сюда пришёл. И сейчас мы будем мучить друг друга, хотя больше всего на свете хотим избавиться от этой необходимости».

Преподавать русского язык было особенно тягостно. Я и сам всегда ненавидел этот предмет. Ведь под видом «русского языка» преподаётся мёртвая схоластика, не имеющая никакого отношения к тому, чтобы овладеть живой русской речью. Мы ковыряемся в языке, как будто лягушек препарлируем, это никак не поможет нам говорить на этом языке.

Однажды, одна девочка-хорошистка спросила меня: «Зачем нужно учить все эти склонения и спряжения, какой в этом смысл?». Я ответил ей, что думал: «Ты права, в этом нет ни малейшего смысла. Но одно тебе точно скажу: это надо для того, чтобы сдать экзамен. Таковы правила, не мы их придумали. Если не сдашь экзамен, сама себе все дороги в жизни перекроешь».

На филфак меня привела любовь к литературе, а схоластическое языкознание было тягостным довеском к этой любви. Литературу я вполне был способен преподавать с увлечением, но до какой же степени это не надо было деревенским детям! В нескольких классах у меня не было ни одного ученика, у которого по поводу книги могли появиться какие-то свои мысли. И чужих мыслей они совершенно не воспринимали. Ученики делились на две категории: буйных идиотов, которых вообще ничего не интересовало, и кото-

рые вообще ничего не слушали, и аккуратных, прилежных зубрилок, в основном это были девочки, которые всё внимательно слушали и старались как можно лучше записывать, но которых было так же бесполезно спрашивать о том, что они думают. Предложение высказать своё мнение приводило их в большое смущение и заставляло тихо опускать глазки, да это всё ещё под несмолкающий рёв буйных идиотов, так что попытки преподавать литературу я быстро оставил, просто сообщая им информацию, знание которой потом потребуется на экзамене.

Как-то помню диктую им тему сочинения: «Духовные искания Андрея Болконского». Эта формулировка почему-то поранила нежную душу одного из буйных идиотов. Он пробурчал: «Чё за искания, на фиг всё это надо». Я посмотрел на его тупое, бессмысленное лицо дегенерата, лишь слегка оживляемое налётом наглости, представил себе блистательного князя Андрея, измученного вопросом о смысле жизни, и в голову мне ударило настоящее бешенство. Я тихо и зло сказал ему: «А тебе и не нужны никакие искания. Твоё дело – месить навоз. Ничем другим ты никогда не будешь заниматься». Класс притих, кажется, дети были шокированы моими словами.

Помню, диктовал старшеклассникам экзаменационные билеты прямо из головы. Им нельзя было читать лекции, которые они будут по ходу конспектировать. Они не могли выбрать главное и записать своими словами. Поэтому я говорил

готовыми фразами, которые они дословно записывали. Говорить письменной речью довольно сложно, это требует определённого напряжения. Девочки добросовестно записывали то, что я говорил, а мужская половина класса расшалилась не на шутку. Успокоить их было невозможно, я старался не обращать на них внимания, но они в своём буйстве перешли уже все пределы. В бешенстве я подошёл к одному пацану, приподнял его за грудки и шмякнул о стул. Он попытался было схватить портфель, чтобы выбежать из класса, но я так страшно рявкнул на него: «Сидеть!», что он замер на месте, словно остолбенел.

В этот же день в туалете появилась надпись: «Сергей Юрьевич – козёл». Я рассмеялся. Никогда в жизни меня ещё не оскорбляли с таким уважением. Пацан решил меня обидеть, но назвал не какой-нибудь поганой кликухой, а как положено называть учителя, по имени-отчеству. Разумеется, я не тронул этой надписи и никого не просил её стереть, но через день надпись исчезла. И не просто исчезла, а была варварски выскоблена. Для того, чтобы удалить эту надпись, вовсе не обязательно было портить дверь, ни уборщица и ни один взрослый человек никогда не стал бы делать это так радикально. Это мог сделать только пацан. Другой пацан, видимо, несогласный с содержанием надписи. Я удовлетворённо хмыкнул.

Я никогда на них не обижался и не испытывал к ним никакой ненависти, потому что прекрасно понимал – их буйство

на уроках не направлено лично против меня, просто такова их природа. Они бесятся потому что им весело, обо мне они вообще не думают и по большому счёту ничего против меня не имеют. Вот и я ничего не имел против них.

Однажды, хулиганистый мальчишка пошутил лично надо мной. Вечером, сидя дома, я услышал у дверей какое-то шелестение. В дверь не стучали, но что-то там делали. Я подошёл к двери, она не открывалась, я сразу понял, что произошло. Меня «заперли». Была такая шутка – на дверь снаружи вешали какой-нибудь ржавый замок. Я рванул дверь на себя с такой силой, какой вообще не обладал. Погнутая скоба и вырванные с мясом шурупы полетели в разные стороны. Выскочив на улицу, я увидел, как улепётывает в темноту маленькая фигурка. Этого гаврика я узнал и со спины.

На следующий день я провёл в их классе урок и попросил его остаться. Спокойно взяв мальчика за ухо, я провернул его на четверть оборота и злобно прошипел: «Если ещё раз...». Мальчишка взвыл от боли и зачастил: «Это не я! Во сколько это было?!». Мелкий шельмец уже, понятное дело, сочинил себе алиби, но от боли быстро себя выдал. Я ведь даже не сказал, о чём речь, а он это уже знал. Конечно, я не стал его слушать, вместо этого провернув ухо ещё на пол оборота. Его скрючило, а я закончил своё шипение: «Ещё

раз, и вообще без уха останешься». Я отпустил его, он убежал с красным ухом, уже не пытаясь ничего объяснить.

Это шаловливое дитя не раз получало от меня в торец в четверть силы. Но вот что удивительно. Когда я увольнялся, и директор отдавала мне трудовую книжку, она с улыбкой обронила: «Вчера Иванов сказал: «Жалко, что Сергей Юрьевич увольняется, хороший был человек»». Это был не такой уж плохой итог моей работы. Хулиганистый пацан вполне осознавал, что ни разу не получил от меня без дела. А вот если бы я оставлял его шалости без последствий – он не смог бы меня уважать. Конечно, я был плохим учителем, но старался быть нормальным человеком, в первую очередь – честным и справедливым.

Иногда я любил приколоться, и это очень забавляло детей. Помню, я задал им сочинение по картине «Февральская лазурь». Они спрашивают: «Сколько надо написать?» Я говорю: «Полторы страницы». Они заныли: «Это невозможно. Чё тут писать? Снег, берёзы...». Я усмехнулся: «А спорим я четыре страницы напишу на эту тему до конца урока?». «На что спорим?» – хитро спрашивают они. «На килограмм конфет. Если не смогу – куплю и раздам всему классу килограмм конфет. Если смогу – вам придётся скидываться на килограмм конфет для меня». Они с большим увлечением

согласились. Конечно, я справился и в конце урока зачитал им своё сочинение на четыре страницы, с ленивой улыбкой махнув рукой: «Конфеты можете не покупать, прощаю». Им понравилось.

Иногда они тоже прикалывались, и не столь безобидно. В сентябре мы ходили работать на поле. Помню, в перерыве сидим с парнями у костра на опушке леса, и вдруг один из них достал из кармана горсть строительных патронов и бросил в костёр. Они мигом разбежались, попрятавшись за деревьями. А я знал, что это за патроны и понимал, что сейчас они начнут взрываться и разлетаться в разные стороны. У меня появилась хорошая перспектива получить в лобешник раскалённую железяку. Но я не стронулся с места. Ну не мог я у них на глазах улепётывать, как заяц. Страх показаться трусом оказался сильнее страха получить травму. Патроны начали взрываться, я спокойно затягивался беломориной. Когда отгремело, они начали понемногу вылезать из-за деревьев. А я им с понтом: «Вы чё разбежались? Испугались что ли?». Они потупясь, улыбались.

Однажды утром я так лихо спрыгнул с подножки поезда, подъезжавшего к Леже, что у меня сзади лопнули брюки по шву. У меня не было времени идти домой, надо было сразу на урок, а потом на следующий и так далее. С большой прорехой на заднице это было неловко, но что делать? Я зашёл в свой любимый класс и дал им самостоятельную работу. Смотрю, один из самых отчаянных моих оболтусов си-

дит, в носу ковыряет, ему явно светит очередная двойка. Я подозвал его к себе и на ухо спросил: «Тройку хочешь?». Он тихо кивнул. «Тогда, – говорю, – очень быстро дуй домой, принеси мне катушку чёрных ниток и иголку». Минут через 15 он появился в классе, с большим тактом, под столом протянув мне нитки с иголкой. У меня в школе был фактически отдельный кабинет – библиотека, которой я заведовал. Я говорю ребятам: «15 минут сидим очень тихо и работаем». Бочком вышел из класса и в библиотеку – зашивать штаны – не очень изящным крупным стежком, но дыру убрал. А мой оболтус получил незаслуженную, то есть вполне заслуженную тройку.

Как-то отец попросил меня привести из деревни вереска – бочку пропарить. Не трудно ведь мне там у себя до леса дойти и вереска нарезать. Конечно, мне было не трудно, но как выглядит вереск и где он растёт я представлял чисто теоретически. Решил проконсультироваться у своих пацанов, а один из них мне говорит: «Да вы не беспокойтесь, я вам завтра домой этого вереска сколько угодно принесу». И принёс. А в конце недели я выставял оценки за поведение и у этого мальчонки по всем параметрам получался явный неуд. Он заходит ко мне в библиотеку и говорит: «Поставьте мне «уд», я вам всё-таки вереска принёс». Мне это не понравилось, и я ему сказал: «Разве мы с тобой об этом договаривались? Хорошо, поставлю тебе «уд», но, если ты ещё раз напомнишь мне про вереск – жестоко накажу». Он часто заки-

вал и, радостный, покинул библиотеку, а за дверями сразу же раздался возмущённый возглас другого пацана: «Это тебе за вереск поставили!». Я выглянул, позвал к себе правдоискателя и очень сердито сказал ему: «Знаешь почему я поставил ему «уд»? Потому что я так решил! Здесь я решаю!». Я очень жёстко заткнул ему рот, впрочем, понимая, что такой постановкой вопроса злоупотреблять нельзя.

А вообще мои детишки были очень услужливы. Ближе к новому году я решил сам сходить в лес и срубить елку. Опять же проконсультировался со своими, а одна девочка и говорит мне: «У меня отец – лесник. Дайте мне 35 копеек и я вам завтра в школу принесу разрешение на вырубку ёлки». Кстати, в городе ёлки стоили не дешевле, чем по рубль двадцать.

Она принесла мне разрешение, вечером я заткнул за пояс топор и пошёл в лес. Зимний лес, да ближе к ночи – это волшебная сказка. Кажется, никогда больше, ни до ни после, я не видел чистого лунного света – без химических примесей фонарного освещения.

В Леже мне пришлось пережить самую морозную в моей жизни зиму. Больше месяца температура держалась около отметки – 45° С. Когда в марте морозы посхлынули, и на улице было около -30° С, казалось, что уже тепло – дышать можно. Именно в эту лютую иму я постоянно ездил взад-вперёд из Лежи в Вологду и обратно. Это было очень суро-

во. В студёных пригородных вагонах стоял страшный дубак. Со станции я бежал ничего не видя вокруг себя в школу, где тоже был страшный дубак. У школы была своя котельная, работавшая на угле. Там то ли уголь экономили, то ли ветхая система не позволяла топить сильнее, но в школе верхней одежды никто не снимал. Дети у меня на уроках сидели не только в пальто, но даже в рукавицах. Я просил их что-нибудь записать, они снимали рукавицы, записывали, а потом одевали. После уроков дети и местные учителя шли к тёплым домашним печкам, а я отправлялся в студёную дорогу до Вологды. Тогда я не снимал тяжёлого полушубка по 12 часов. В начале седьмого утра выходил из своей вологодской квартиры, в начале седьмого вечера возвращался. Если оставался на ночь в Леже, то протопить квартиру, нетопленную на таком морозе дня три, было безумно трудно.

Однажды в каникулы я по лютой стуже подошёл к школе в 9 утра и увидел на дверях замок. Мне стало обидно до слёз: я прорывался сюда через море холода, а они решили сегодня не работать. Пошёл в свою нетопленную квартиру, где была такая же температура, как и на улице. Сидел у печки в полушубке и ушанке, непрерывно подбрасывая дрова. Ушанку решил снять только через 3 часа непрерывной топки. Так и просидел у печки 6 часов. За это время мне удалось поднять температуру до $+10^{\circ}\text{C}$. И я пошёл обратно на поезд.

На следующий день школа была открыта. Директор встретила меня возмущённым вопросом:

– Сергей Юрьевич, вы почему вчера на работе не были?

– Так я же пришёл к началу рабочего дня, школа была закрыта, – я просто охренел.

– Вы что, не знаете, что в каникулы мы работаем с 10 часов?

– Впервые слышу. И я не виноват, что кто-то на работу во время не ходит.

– Вы меня что ли имеете ввиду? – она перешла на крик.

– А я не знаю, кого я имею ввиду. Не было никого, – я тоже перешёл на крик. – И вы прекрасно знаете, что я приезжал.

– Знаю. Мы за вами ученицу посылали. Вы ей не открыли.

– Да я сидел у печки в ушанке. Если она поскреблась, как кошка лапкой, так я и не услышал. А если бы услышал, так с удовольствием бы пошёл в школу. Тут явно было теплее.

– Да, в школе было не холодно, – она поостыла. – Больше, что я могу для вас сделать – поставить в ведомости пропуск рабочего дня по разрешению администрации. В отпуске вы этот день отработаете.

Хорошо мы с директором друг на друга поорали. И это было не раз – стоило ей повысить на меня голос, как я тут же повышал на неё голос до того же уровня. Так что потом трудно было понять, кто кому разнос устроил. Вообще, она была нормальным человеком, и зря я, наверное, так с ней. Но самое удивительное: мы с ней так и не испортили отношений.

Много лет спустя меня пригласили в Лежу на юбилей шко-

лы. Увидев директора, я тепло ей сказал:

– Рад, что не забыли про меня.

– Ну что вы, Сергей Юрьевич, как можно такое забыть, – она улыбалась очень доброжелательно и смотрела на меня с искренней симпатией. И это было взаимно.

Вообще, она с большим пониманием относилась к тому, что из-за моей езды случались накладки по работе. Несколько раз было – утренний поезд отменяли, и на работу я не попадал. Иногда мне случалось проспять, если я просыпался полседьмого, когда на поезд уже поздно было идти, я пропускал весь рабочий день. Однажды я проспал, а на следующий день отменили поезд. Я пропустил два рабочих дня подряд. Директор могла бы мне сказать, что меня в Вологду никто не гонит, у меня есть квартира в Леже, и никто мне не будет делать поблажки из-за того, что я езжу в Вологду. Но она ни разу этого не сказала. Она понимала, что в Вологде у меня семья. Она без лишних разговоров сокращала мне отпуск ещё на один день, против чего я не мог возражать.

А эта зима тяжело мне далась. Один раз после школы пришёл в свою студёную квартиру и тут как раз отключили электричество. Радио у меня работало от сети, а потому разом совпали три обстоятельства – холод, темнота и тишина. Никогда не думал, что это такое страшное сочетание, уже через несколько минут душа наполняется ужасом.

Возиться с дровами, чтобы затопить печку, было невозможно в чистом костюме. Переодеться в темноте тоже было

затруднительно. Я воткнул в ручку от кочерги свёрнутый из газеты бумажный жгут, поджёг его, и пока он горел, успел переодеться. Затопил печь, комната наполнилась красными отблесками огня, на душе сразу стало легче.

В Леже я не голодал, потому что еду привозил с Вологды. Хлеб, например, за 3 года ни разу не купил в Леже. Да не так-то это было и легко. В магазине хлеб не продавали, только на пекарне, а на пекарне его продавали только час в день. Конечно, я и попыток не делал купить местный хлеб. Кстати, батончиков здесь не пекли и сюда их не привозили. Местные ребята считали батончики большим лакомством, меня иногда просили привезти из Вологды пару батончиков.

Полным ходом шла перестройка, полки магазинов стремительно пустели, а в сельмагах полки и раньше не ломились от еды. Так что в Лежском магазине купить что-нибудь поесть было весьма затруднительно. А уж как кормили в школьной столовой – этого я никогда не забуду. На первое – суп из пакетов. Это пара столовых ложек какой-то сушёной дряни, залитых водой. На второе – немного рожков – только гарнир, ничего больше. Ну и жиденький чаёк на третье. К сему прилагалась пара кусков ржаного, плохо пропечённого хлеба, похожего на пластилин. Стоил такой обед 12-14 копеек, очень дёшево, но для взрослого человека это была не еда.

Вечерами, оставаясь в Леже, я жарил себе большую сковородку картошки и наедался до отвала, компенсируя скудность обеда. Мне тогда и в голову не приходило, что к картошке неплохо бы иметь какую-нибудь котлетку или сосиску, это казалось даже излишеством, да и где их было взять.

В Вологде иногда можно было купить колбасы, я брал её с собой, хоть и не часто. Помню, встаю ночью и вижу, как крыса по полу тянет пакет с колбасой к себе в нору. Крыса за свою наглость получила поленом, колбасу я отбил. Оказалось, что хвостатая уже успела немного с края отъесть. Я обрезал объеденные края, и колбасу потом съел. С тех пор колбаса у меня хранилась только в большой чугунной сковороде под тяжёлой крышкой. Никакого холодильника у меня, конечно, не было.

Однажды, приехав утром в Лежу, я быстро разделся в библиотеке, бросил сумку и побежал на урок. Прихожу с урока – в сумке крысы проели огромную дыру, уничтожив весь продовольственный запас, который находился внутри. С тех пор я уже не ездил в Лежу с дермантиновыми сумками, только с кейсом из очень жёсткой пластмассы, которая была крысам не по зубам.

В сентябре некоторое время вместо уроков мы ходили с детьми работать в поле: иногда на лён, иногда на картошку. Вдруг неожиданно выяснилось, что мои пятиклассники не умеют вязать снопы льна. Так я же их научил! Я хорошо умел это делать. Студентами нас часто посылали в сентяб-

ре на лён. Тут я усмехнулся про себя: «Хоть чему-то меня в институте научили». Конечно, меня распирала гордость от того, что я, горожанин, учу деревенских детей лён вязать.

А как-то раз пошли мы на картошку. Поезд немного задержался, и я побежал с поезда прямо на поле, не заходя в школу. Мы бросили сумки на краю поля и пошли работать. В обед выходим к сумкам, а от них на земле валяются одни клочки. Стая собак уничтожила всё наше продовольствие. У ребятешек в сумках был обед, а у меня – запас еды на два дня.

Вечером на ужин у меня не было вообще никакой еды. Я пошёл обратно на картофельное поле, зная, что убирают не дочиста, и за полчаса насобирал сумку забытой картошки. Правда хлеба дома не было, я размочил две каких-то чёрствых заплесневелых корки и вполне ими удовольствовался.

Утром не было завтрака, а когда дети пошли обедать, я отошёл в сторонку, чтобы не смущать их своими голодными взглядами. И вот подходит ко мне дочка нашего физрука, которая училась в моём классе, протягивает мне пакет и говорит: «Вот, папа вам обед собрал». Я чуть не прослезился. Он знал, что я остался без еды и, не говоря ни слова, послал мне обед.

Физрук был душевный мужик, у нас с ним были очень хо-

рошие отношения, так же как и с военруком, и с трудовиком. Все они любили выпить, и я тоже, хотя пил я с ними редко, из-за постоянной езды взад-вперёд мне было не до этого. Иногда лишь случалось нам посидеть за бутылкой, и то «посидеть» – это сильно сказано. Они пили совсем не так, как привыкли пить мы. Для нас главным смыслом пьянки были бесконечные разговоры. Они по-деловому «принимали на грудь» и шли заниматься своими делами. В деревне, хоть ты колхозник, хоть учитель – всех дел по хозяйству никогда не переделать.

Водка тогда была по талонам, то есть её нельзя было просто так пойти и купить. И вот однажды разжились мы водкой, зашли после уроков ко мне, чтобы выпить. Мне тогда надо было домой ехать, но до поезда была ещё пара часов. Закуски у нас не было ни крошки, я говорю: «Мужики, подождите, картошки пожарю». А они мне: «Юрьич, перестань, давай, выпей». Я выпил, продолжая чистить картошку. Потом когда резал картошку, ещё выпил, начал жарить и ещё выпил. Наливали они большими порциями, потому что спешили, а отсутствие закуски их совершенно не смущало. Картошку я так и не дожарил, что было дальше – не помню.

А было вот что. Я не забыл, что мне надо домой. В беспомощности, по синусоиде, едва держась на ногах, я пошёл на станцию. Но идти мне, видимо, было очень трудно, поэтому рухнул в снег и отрубился. Меня подобрала наша учительница истории, с трудом дотащила до моей квартиры. Утром

просыпаюсь в пальто у себя на кровати – в дверь стучат. Это наша милая учительница истории. Она улыбается и говорит: «Сергей Юрьевич, вы вчера в Вологду не смогли уехать, если выйдете прямо сейчас, то успеете на утренний поезд». Я поблагодарил и успел.

В Леже мне предлагали вступить в партию. Я сказал, что воздержусь, не созрел ещё. Но это не освободило меня от необходимости ходить на партсобрания. Утром парторг подходила ко мне и спрашивала:

– Сергей Юрьевич, вы почему вчера на партсобрании не были?

– Так я же не член партии.

– Но это было одновременно и комсомольское собрание.

Я кивал. А потом всё повторялось сначала: «Почему не был – я не член партии».

Как-то физрук мне говорит:

– Втык получил за то, что на партсобрании не был.

– Но ведь ты и не комсомолец.

– А они мне говорят, что это было одновременно и профсоюзное собрание.

Мы посмеялись. Почему-то ни комсорг, ни профорг никогда нас по этому поводу не беспокоили. Только парторг. Потому что она была одновременно завучем. Это были обык-

новенные производственные совещания, которые именовали и партийными, и комсомольскими, и профсоюзными собраниями, чтобы потом отчитаться за то, что они проведены. Советская система даже на излёте оставалась советской, хотя её лукавство и ложь уже не вызывали ничего, кроме отращения, и над ней можно было открыто потешаться.

Поезд на Вологду всегда приходил с опозданием минут на 20. Я, конечно, приходил на вокзал вовремя и ждал его 20 минут. Но однажды я сам пришёл минут на 10 позже, будучи спокойно уверенным, что поезда ещё не было. А он уже был. Он сегодня пришёл и ушёл вовремя. Ну не подлец ли? Я думаю, всё равно уеду. Смотрю, на станции стоит товарняк, подхожу к локомотиву, кричу машинистам: «До Вологды не подвезёте?». Они отвечают: «Нам не жалко, залезай, если хочешь, но мы не знаем, как Паприху проскочим. Может быть, 20 минут там постоим, а может – 5 часов. По-разному бывает». Я решил рискнуть. Сижу один во второй кабине локомотива, наслаждаюсь своим авантюризмом. Вот и Паприха. Стоим уже час. В Паприхе сходятся две железнодорожные ветки, вторая проходит на некотором удалении, и я поглядываю туда – не появится ли там поезд на Вологду? Появился! Выскакиваю из кабины и иду на вторую ветку, но пассажирские поезда стоят здесь очень мало, и я не успел,

поезд тронулся. Ну что ж, иду обратно, к своему товарняку. Состав длинный, и вдоль него ещё некоторое время надо идти до локомотива. И вдруг товарняк тоже тронулся, вагоны медленно проплывали мимо меня на Вологду. На размышления не было ни секунды, я на ходу заскочил на площадку между товарными вагонами. Была зима, морозный встречный ветер не радовал, но поезд шёл не слишком быстро, и ехать мне было не слишком далеко. На льнокомбинате поезд притормозил, и я соскочил, рассудив, что взъезжать на вологодский вокзал между товарными вагонами, это будет уже перебор.

Вот такие я себе выдумывал приключения.

Помню, как получил трудовую книжку и ехал домой на пригородном поезде. Вышел в тамбур, там двери как всегда стояли настежь, я сел на ступеньки и закурил. Тогда можно было так ездить. Лицо обдувал тёплый июльский ветерок, а мимо меня проплывали поля сплошь покрытые иван-чаем и другими полевыми цветами. В этом разноцветье было столько радости жизни, что и не передать.

Много лет спустя меня пригласили на юбилей Лежской

школы. Это была школа, в которой я не работал ни одного дня – кирпичная, благоустроенная – самая обычная городская школа. Когда я работал, её строили, а когда я уехал, её сразу же пустили в эксплуатацию. Так что в старой деревянной школе я доработал её последние дни.

Пошёл посмотреть на свой домишко, в котором прожил почти 3 года до обрушения потолка. Его не было. Его снесли. А все другие дома стояли на месте. В моей же хибаре после меня уже никто не жил.

Потом я два года отработал в районной газете, и мой последний рабочий день был днём переезда редакции в новое помещение, а до меня она тут размещалась несколько десятилетий. Потом – 2 года в городской газете. После меня редакция продержалась в своих помещениях несколько месяцев. Потом – 16 лет в областной газете. Через пару лет после меня редакция съехала из помещений, где располагалась лет 40.

Где бы я ни работал, после меня почему-то ничего не держалось. У меня нет возможности пройти по тем коридорам и зайти в те кабинеты, где прошла вся моя трудовая жизнь. Школу снесли, а в зданиях редакций – совсем другие организации. В те стены, где когда-то трепетало от радости и разрывалось от боли моё сердце, уже не зайти никогда.

С чего начиналась революция?

В одном советском фильме два молодых человека спра-

шивают древнего большевика: «Вы были участником революционных событий. Расскажите, с чего лично для вас началась революция?». Старик, меланхолично улыбнувшись, ответил: «Революция для меня началась с того, что я безнадежно влюбился».

А ведь мы тоже были современниками и в некотором смысле участниками революции. Советская власть, продержавшаяся 74 года, рухнула у нас на глазах. С чего же лично для меня началась революция? Я влюбился и второй раз женился заблаговременно, в 1989 году. В мае 1991 года у нас родилась дочка. А революция для меня началась с квартирного вопроса.

Утром 19 августа я завтракал и слушал радио. Передавали какое-то странное заявление вице-президента Янаева. Говорю жене:

– Не понял, а чё Янаев выступает, как глава государства?

– Так Горбачёв – в отпуске, – жена улыбнулась. – А ты думал – государственный переворот?

– А я думал – государственный переворот, – я сам улыбнулся над своей мнительностью.

И я пошёл на работу. В журналистике я был к тому времени третий год и работал заместителем главного редактора городской газеты. А надо сказать, что тогда ещё не было того обилия газет, которое вскоре обнаружилось в нашей жизни. В Вологде было только 4 газеты – 2 областных и 2 городских. И руководящие должности в редакциях отнюдь не до-

ставались людям, которые случайно зашли с улицы. На моё место более, чем хватало желающих с солидным журналистским стажем. Но это место получил парнишка 27 лет, по тем временам – более, чем стремительное начало карьеры.

Прихожу на работу, и что же вы думаете? Оказывается в стране действительно государственный переворот. Предчувствия меня не обманули (с тех пор, когда меня подозревают в излишней мнительности, я загадочно улыбаюсь). По душе словно палкой ударили. Дословно помню, что тогда по этому поводу сказал: «А ведь всё шло так хорошо... Кто-то может думал, что всё шло плохо, но я знал, что хорошо».

Это было крушение всех надежд. Перестройку я принял всей душой. В стране появился воздух, которым можно было дышать. Теперь мы читали книги, которые никогда раньше не издавались, узнавали правду об ужасах сталинизма и других периодах нашей истории. Теперь можно было вести политические дискуссии, и не на кухне, а в газете, что для журналиста было особенно здорово. Теперь можно было выбирать депутатов, каких захотим – на альтернативной основе. Никто не запрещал поддерживать вовсе не того кандидата, которого поддерживал горком КПСС, и мы, конечно, всегда поддерживали другого. Появились другие! В Вологде регулярно проходили политические митинги, на которых порою довольно жёстко поругивали КПСС. Появилось за что бороться. Мы хотели как можно дальше отодвинуть КПСС от власти.

Впрочем, я не был тогда принципиальным противником социализма и в общем-то купился на предложение Горбачева построить «социализм с человеческим лицом». Не хотелось только социализма брежневского образца, застойного и затхлого, подёрнутого тиной, мертвящего и не допускающего никакой живой мысли. За такой социализм, за то, чтобы всё осталось, как было, выступали коммунисты-ортодоксы, с которыми боролись мы, люди жаждущие обновления.

В течение всей перестройки ортодоксов всё больше и больше теснили. К 1991 году их уже почти отжали от власти, которая постепенно переходила к демократически избранным советам. И вот утром 19 августа 1991 года все наши надежды рухнули в один момент. Ортодоксы одним резким жестом вернули себе власть. Я воспринял это как фактическую реставрацию брежневской эпохи. Для меня это был очень серьёзный удар.

Но меня поджидал удар не менее серьёзный. Мне тогда негде было жить. Полтора года мы с женой прожили в тухлявом деревянном домишке, а с рождением дочери уже не сочли возможным там оставаться, переехали к моим родителям, где было очень тесно, и долго там, понятное дело, нельзя было оставаться. С самого начала работы в городской газете, то есть с осени 1990 года, я просил комнату в общежитии, полагая, что прошу немного и это не составит проблемы. Но в горисполкоме мне сказали, что общежитий у них почти нет, проще подобрать какую-нибудь квартиру в дере-

вянном фонде, на что я сразу же согласился. Но они и этого мне не давали. Я постоянно напрягал главного редактора, чтобы она надавила на «подателей благ» – не помогало. Уже год без малого мне ничего не давали. И вот утром 19 августа я в очередной раз спросил у редактора, как там успехи на моём жилищном фронте, а она в очередной раз ответила мне, что ничего пока не дают.

Тогда меня это взорвало. Это был и правда запредел. Человек, который чуть ли не каждый день здороваётся за руку с первыми лицами города, не может получить какой-то паршивой общаги или деревяшки. Вот на таком эмоциональном фоне я и воспринял приход к власти ГКЧП.

Редактор ушла в типографию, а мы сидели с первым замом, готовили номер. Он говорит: «Давай выпустим номер с белым квадратом на первой полосе в знак протеста против ГКЧП». Я отвечаю: «Нет, не будем, если честно, то страшно». И тут в кабинет заходит кто-то из сотрудников с предложением напечатать указы ГКЧП. Я чуть ли не закричал: «А вот этого не будет! Мы не станем под них прогибаться!».

В этой двойной позиции – весь я. Не герой, нет, совсем не герой. В критических ситуациях я всегда был склонен проявлять ту осторожность, которую люди невежливые, могли бы назвать и другим словом. Но я никогда не был холуём, никогда не заискивал перед властью, и никогда не думал о том, чтобы мне такое сделать, чтобы понравиться руководству.

Итак, позиция по ближайшему номеру была определена:

никаких протестов, но и никаких заискиваний. Почему-то эту позицию определил я – второй зам, то есть третий человек в редакции. Но по многим вопросам я мог выступать, как второе, а иногда и как первое лицо. Это была ответственность. И в тот исторический момент я оказался не на высоте своей ответственности.

Ко мне на минуту заглянул товарищ, я посмотрел на него мутным взглядом и сказал: «Слушай, а пошли водку пить?». Уж не знаю, что меня больше взбесило, жилищный облом или ГКЧП, но мне захотелось напиться. И мы пошли в ресторан «Север».

Почему же я пошёл пьянствовать, хотя явно должен был оставаться на рабочем месте, когда решалась судьба страны? Так дело в том, что я был уверен: судьба страны уже решена и решать ту больше нечего. Это очень по-русски: принимать новую власть, как данность, как факт, совершенно без мысли о том, что от нас тут что-то может зависеть. Нет, мне отнюдь не было наплевать на страну. Я просто был уверен, что страна уже погибла. «Доктор сказал: «в морг», значит в морг».

Когда мы шли в ресторан, по дороге я встретил знакомого предпринимателя. Он говорит: «Ну что, пора оружие откапывать?». Я в ответ кисло улыбнулся. У меня не было закопано. У него тоже. Потом одна знакомая учительница литературы рассказала, что подумала тогда: «Если опять заставят преподавать Демьяна Бедного, я уволюсь из школы».

Мы сидели и пили. Не сказать, что роняли слёзы в рюмку.

Просто пили. Спускаемся вниз покурить, а там один мужчина нам говорит:

– Ну чё, мужики, последние деньки гуляем?

– Почему «последние деньки»? – мрачно ответил я. – Последний денёк.

Да, в нашей среде было ощущение конца света. Хотя представляю, как встрепенулись тогда от радости краснопёрые.

Мой товарищ сказал: «А ведь перестройка закончилась... Как интересно будет называться следующая эпоха?».

Как же она называлась? Тогда, кажется, говорили «годы реформ». А под каким названием вошла наступившая эпоха в историю? Под очень простым названием: девяностые. Да, девяностые начались в конце августа 1991 года.

Мы почему-то не напились тогда. Вечером я ещё смотрел по телевизору пресс-конференцию Янаева. А утром я пошёл на работу. Похмелье я всегда переносил очень тяжело, если бы сильно напился, так и вообще не встал бы утром. А тут – встал, хотя было очень хреново.

А на работе мне такое рассказали... Оказывается, тут вчера вечером целая битва была. Во второй половине дня появились указы Ельцина, объявившие создание ГКЧП незаконным. То есть у людей появился выбор между двумя политическими силами, а перед нашей редакцией встал вопрос: печатать указы Ельцина или нет? Вопрос был острый. Если бы ГКЧП победил, нам бы за это крепко влетело. Первый зам твёрдо сказал: «Будем печатать». Редактор встала на дыбы:

«Никаких указов Ельцина, мне ещё детей надо на ноги поставить». У неё было пятеро детей. А у первого зама – только трое. Вот эта-то разница в количестве детей, очевидно, и породила разницу в политических позициях.

Первый зам победил, указы Ельцина мы напечатали, ещё когда отнюдь было не ясно, что он возьмёт верх. Наша редакция выбрала свой путь. А я в этом не участвовал. Мне было стыдно, но меня никто ни в чём не упрекнул. Утром 20 августа буза ещё только началась, нам надо было её освещать. Эту ответственную работу доверили мне. Такую работу нельзя было делать человеку уровнем ниже заместителя главного редактора. Потом я написал об этом статью под названием «Трещина». Историческая, однако, статья. Приведу её здесь почти полностью.

Сейчас, когда я пишу это – 22 августа, 8 часов 15 минут. Только что по второй программе радио слышал живой гневный голос Горбачёва. Снят ещё один вопрос – о физической судьбе президента СССР. Когда вы будете держать в руках субботний номер, станут, наверное, известны ответы и на другие вопросы. Но я их ещё не знаю. Я хочу рассказать о работе горсовета Вологды 20 и 21 августа с позиции указанного часа.

Вчера, в начале пятого вечера, несколько депутатов в

большом зале горсовета слушали радио. Было объявлено, что государственные преступники арестованы. Страшное напряжение этих дней схлынуло. Объявление не соответствовало истине, преступники на тот момент летели в самолёте, но главное было правдой – попытка государственного переворота – провалилась.

Депутат А.А. Субботин, сидящий рядом со мной, говорит: «А интересно было бы посмотреть на всё, что с нами сейчас происходит, лет через 50». Я говорю, что тоже не отказался бы от такого подарка, но принял бы и более скромный: заглянуть в будущее хотя бы на 50 часов.

Всего три дня, и столько отношений к происходящему. Первое – шоковое. Заявление хунты по радио. Новая власть. Второе – тревожное. Указы Ельцина. Две власти. Третье – радостное. Преступники бежали. Прежняя власть. И три типа людей, которые радовались и огорчались попеременно, а так же вечное болото между ними.

Прокрутим плёнку на два дня назад. С утра – экстренное заседание президиума горсовета, в 16 часов – попытка созвать чрезвычайную сессию, которая не состоялась из-за отсутствия кворума (пришло 100 депутатов из 200). Но на состоявшемся вместо сессии депутатском собрании было сделано главное – выработана позиция.

Депутат областного совета О.Я. Никитин сказал о том, что на заседании президиума облсовета уже принято постановление, поддерживающее Президента РСФСР. Казалось бы,

это должно было облегчить принятие соответствующего решения депутатами горсовета. Но Октавиан Яковлевич сказал и о другом: у них поддержали Ельцина 11 членов президиума из 20. Проголосуй всего 2 человека иначе, и власть хунты была бы фактически признана.

А потом ещё выступление городских отцов-командиров, далеко не каждое из них радовало слух. Полковник Карпов однозначно заявил, что будет следовать директивам вышестоящего командования, а на вопрос о том, как он относится к ГКЧП, ответил, что всё происходящее направлено на наведение порядка, оздоровление обстановки и т.д.

Н.Н. Белов, заместитель прокурора города, предложил подождать заключения Комитета конституционного надзора. Если ГКЧП будет признан законным...

С.М. Норкин, председатель Федерации профсоюзов Вологды, сказал, что хотя ГКЧП – незаконный орган, но он не видит причин для паники и политической возни. А в конце своего выступления даже посетовал: «Нам что, заняться больше нечем?».

Г.В. Судаков, председатель облсовета, подчеркнул, что нам ничто не угрожает и наши действия должны быть адекватны ситуации. В Москве – другое дело...

Но такого единодушия среди депутатов не приходилось наблюдать со времён застоя. Решение обратиться к жителям города с осуждением действий ГКЧП было принято единогласно. Это можно было бы списать на страх, но бояться при-

ходило скорее преступников у власти. Тем более, что перед самым голосованием Муртазин, находящийся в кабинете Лопатина, передал из Москвы, что Верховный совет окружён войсками и ожидается штурм. Объявили 15-минутный перерыв в ожидании новой информации. Четверть часа тянулись мучительно, новой информации не поступило. Тут действительно можно было испугаться, но ни один депутат не проголосовал за тех, кто, казалось бы, вот-вот захватит власть.

В чём состоял этот феномен ста процентов? Ведь общество раскололось, а горсовет был един. Но это не так. Горсовет тоже раскололся. В зале присутствовало сто депутатов. Представители второй сотни, безразличные, видимо, к судьбе Отечества, «соблюдали спокойствие» на своих рабочих местах или ещё где-нибудь. Из них, наверное, многие голосовали бы против, но эти так называемые депутаты предпочли вовсе не голосовать. Может, и к лучшему.

Депутатское собрание закончило работу в девятом часу вечера, но группа «Демократическая Россия» осталась. Прежде, чем продолжить работу, включили телевизор. По ленинградскому каналу шла трансляция митинга. Нам, оказавшимся в условиях информационного вакуума, слышать подлинно антифашистские выступления честных ленинградцев было как бальзам на раны. А в 21 час началась программа «Время» – телевизор будто подменили, будто какая трещина... Но так же внимательно слушали и всю эту мер-

зость, знать надо было как можно больше.

Однако, послушали и хватит, ждала работа. На собрании «Демократической России» присутствовали так же и коммунисты из группы «Демократическое действие». И никаких споров и разногласий ни по одному из принципиальных вопросов не было между этими вечными спорщиками и оппонентами. Перед лицом общей беды, действительно, не время выяснять отношения.

Была создана Инициативная группа по формированию городского стачечного комитета. Но президиум горсовета, который состоялся на следующий день в 7 часов утра, решение о создании стачечного комитета не поддержал. Проголосовало «за» большинство присутствующих, но отнюдь не большинство списочного состава. Это решение можно расценить по-разному. Можно, например, так: решение разоружиться перед лицом наступающего врага.

Депутатам «Демократической России» оставалось лишь самим выступить инициаторами создания стачкома. В 12 часов дня состоялась встреча представителей 15 трудовых коллективов города и решение о создании стачкома было принято. Но в 14 часов, когда в горсовет пришли руководители предприятий города, пришлось ещё раз столкнуться с давно невиданным единодушием. Только теперь оно имело обратный знак. Хунту, правда, осуждали, хотя и тут многие ограничились молчанием. А по поводу забастовки директора сказали следующее:

«Почему не подождать сессии Верховного Совета РСФСР?».

«Вы отвлекаете нас от работы».

«Вы как будто в шутки играете».

«Вы представляете, что будет?».

«Зачем будоражить народ?».

«Кто ответит за материальный ущерб?».

«У нас одна задача – обеспечить ритмичную работу».

«Есть много других методов самовыражения».

«Не допустим создания новой некомпетентной структуры».

С одной стороны, директоров можно понять: они несут ответственность за производство, они лучше других понимают, что такое забастовка. Но неужели не ясно было этим людям: хунта подвела страну к ситуации, из которой без потерь не выбраться. Экономические потери, которые понесла бы республика от однодневной забастовки, были бы огромны. Но приход к власти хунты даже на один месяц, принёс бы убытки в сотни раз больше. Выступая против забастовки и экономя рубль, мы могли потерять весь бумажник. За деревьями не увидели леса, сиюминутные проблемы закрыли вид на перспективу. Но другое требует ответа. Почему такой переполох, если о забастовке и речь не шла? Говорилось только о создании стачкома.

Ряд руководителей, что называется, проболтались и ответили на этот вопрос. Сегодня будет создан стачком для борь-

бы с хунтой, и завтра этот же стачком потребует решения экономических проблем. Сегодня они потребуют увидеть на трибуне Горбачёва, а завтра – сахар на прилавках. Для кого-то очень страшно, что народ будет представлять собой организованную силу. Кто-то боится, что рабочие сплотятся вокруг созданного ими координационного органа – стачкома.

На заседании президиума, которое состоялось сразу после этой встречи, был создан другой координационный орган – комиссия по чрезвычайным ситуациям. Депутаты не проголосовали за её создание. Тогда председатель горсовета Е.И Ершов утвердил её своим личным распоряжением. В комиссию вошли представители исполнительной власти, милиции, КГБ, прокуратуры и военный комендант. Воздержусь от комментариев к этому факту, но структура нашей чрезвычайной комиссии – чуть ли не буквальный аналог другого чрезвычайного органа, для борьбы с которым она, казалось бы, была создана.

По странной иронии судьбы, сразу же после решения председателя горсовета о создании чрезвычайной комиссии в зал вошёл один из депутатов и сказал, что государственные преступники уже арестованы.

А встреча депутатов с вологжанами, которая была назначена на 18 часов на площади Революции, всё-таки состоялась. С другим смыслом, разумеется, ведь про забастовку речи уже не шло. Люди пришли, несмотря на дождь и на то,

что ситуация утратила свою остроту. Выступил депутат горсовета С.А. Кароннов:

«Хотелось бы всех поздравить и закончить на этом, но предстоит ещё сделать выводы из того, что произошло. Была нарушена Конституция, однако, нельзя сказать, что в нашем городе чётко и организованно показали свою позицию по отношению к этому. Руководство облсовета не дало однозначной оценки попытке переворота. Ситуация в горсовете тоже абсолютно не удовлетворяет. Оттягивалось время проведения чрезвычайной сессии, текст принятого всё-таки обращения не достаточно отразил ситуацию. Как только речь заходила о стачке, сразу же говорили, что этого не надо. Когда ставили вопрос об организации этой встречи, чувствовалось противодействие. Мы не гарантированы от других антиконституционных действий той или иной группы лиц. Надо действовать оперативнее и однозначнее».

Встреча закончилась, дождь пошёл сильнее. Но люди не хотели расходиться, сгруппировавшись вокруг нескольких депутатов, задавали вопросы, высказывали свои мнения. Чувствовалось, что они ещё не отошли от всего происшедшего и отойдут не скоро. Трещина, расколовшая на две части нашу страну, за несколько дней углубилась и развела по разные стороны пропасти государственные службы, местные советы, всех нас. А многие, ранее противостоявшие друг другу, на сей раз оказались вместе. Трещина зарастает, но, думаю, люди неплохо запомнят, кто по какую сторону был, им

будет легче ответить на вопрос: «За кем идти?».

Вот такую статью я тогда написал. Сейчас мне немного неловко за её яростный демократизм, но не за то, что я был против ГКЧП. Хотя мои политические убеждения с тех пор очень сильно изменились и многих из тех, с кем я был тогда в одной команде, я уже в середине 90-х считал врагами России. Я опять поддержал бы их, если бы мне сейчас удалось из марта 2015 года перенестись в август 1991 года, потому что тогда первоочередной задачей было убрать от власти коммунистов. Я говорю это, несмотря на то, что теперь мне уже известна та страшная цена, которую пришлось заплатить России за крушение советской власти.

Помню, какое волнующее радостное чувство я пережил, когда Ельцин издал указ о приостановлении деятельности КПСС на территории РСФСР. Ту свою радость я до сих пор разделяю. Коммунистическое чудовище рухнуло. Оно, правда, увлекло в своё падение всю Россию. Но Россия опять встаёт на ноги, а чудовище уже не вернётся.

Впрочем, тогда мы наивно радовались тому, что «победила демократия». Помню, вечером 22 августа мы сидели дома у первого зама, пили водку и смотрели телевизор. А по телевизору передавали шоу с Красной площади. Там разные эстрадные звёзды пели песни и все кричали: «С победой!». В

какой-то момент мне стало не по себе от легкомысленности этого веселья. Первый зам спросил меня: «Ты чего помрачнел?». Я говорю: «Да как-то очень уж все веселятся. Неужели никто не понимает, что мы сейчас вступаем в тяжелейший период?». Я не ошибся. Россия вступила в девяностые.

А мой жилищный вопрос разрешился самым фантастическим образом. Редактор, сияющая, приходит из горисполкома и цитирует начальника жилищного отдела: «Нам вашему Катканову легче квартиру дать, чем общежитие». И резюмирует: «Сергей Юрьевич, пляши, тебе квартиру выделили». Не часто в жизни я испытывал такую сильную радость, как тогда.

Квартиру мне, правда, выделили в ещё недостроенном доме, но через год я уже в неё въехал. Это было самое настоящее чудо, за которое я всегда буду благодарен Богу и редактору.

Как я пришёл к вере

Православная вера для меня – как воздух без которого мне было бы нечем дышать. Без веры я не вижу в жизни ни малейшего смысла. Я с содроганием вспоминаю то время, когда не верил в Бога. Значит, тот момент, когда я из атеиста стал верующим – самый главный в моей жизни. И вот этого-то момента я совершенно не помню. Даже год не могу назвать. А у меня ведь хорошая память на прошлое. Местами даже слишком хорошая. Я в деталях помню все поворотные моменты своей жизни. Жена иногда удивляется: «Как ты всё помнишь?». Я развожу руками: «Такова моя особенность». Почему же я не помню самого главного? Потому что этого главного именно как события можно сказать, что и не было.

Я люблю интересные истории о том, как атеисты приходят к вере. Один стал свидетелем чуда, другого некое жизненное потрясение заставило уверовать, третий встретил человека, который изменил его отношение к религии. Но у меня ничего такого не было. Я помню время, когда я твёрдо знал, что Бога нет. Я помню время, когда я твёрдо знал, что Бог есть. Что же было между ними? Некий вялотекущий процесс, растянувшийся на неопределённое количество лет.

Атеистом я, откровенно говоря, был немного странным, мне всегда нравилось всё церковное, например, открытки, которые иногда появлялись в нашем доме. Мама поддерживала отношения с тётёй Тоней Мурашёвой, которая была подругой её мамы, моей бабушки. И моя бабушка, которая умерла, когда мне было 5 лет, и тётя Тоня, которую я хорошо знал, и ещё тётя Лиза, родная сестра моей бабушки, которая жила в деревне Пески, где я часто бывал летом, были людьми «очень верующими», как я тогда говорил. Сейчас я понимаю, что очень или не очень верующим быть нельзя, они просто были людьми церковными. Это всегда вызывало у меня большое уважение, и ни тени протеста.

Бабушку я почти не помню, но вот один фрагмент нашего разговора врезался в память на всю жизнь. Я, видимо, что-то спросил её о Боге, хотя своего вопроса не помню, а она ответила: «Бог живёт на небе. Подрастёшь – всё узнаешь». Как часто подростком я вспоминал эти слова и думал: «Вот я подрос и узнал, что Бога нет». Я вспоминал эти слова и позже, когда уже был в Церкви и узнал, что бабушка была права.

Дома у нас в кухонном шкафу, почти незаметные, всегда стояли маленькие иконки. Они были для меня привычны, нисколько не раздражали, но ничего особо не значили. Кажется, именно по поводу этих иконок я однажды спросил маму: «Но ведь мы – неверующие?». Мама ответила: «Почему мы неверующие? Мы – верующие». Мне тогда было лет 13,

мамин ответ меня немного удивил, но отнюдь не стал никаким потрясением. Родители, может быть, и ходили в церковь где-то раз в год, я этому значения не придавал, да, видимо, чаще всего об этом и не знал. Со мной разговоров о вере они никогда не заводили.

Иногда у нас дома бывала тётя Тоня Мурашёва. Это был интересный человек. По образованию – врач, она работала рентгенологом, но с работы её уволили из-за религиозных убеждений, о чём я, очевидно, узнал гораздо позже. Сейчас я понимаю, что тётя Тоня была исповедницей, то есть человеком, пострадавшим за веру. Это очень значимо перед Лицом Божиим, не каждому православному это дано. Я знал её пенсионеркой, она работала регентом в кафедральном соборе и была хорошо знакома со многими священниками. Она то иногда и приносила к нам домой разные православные открытки или чёрно-белые фотографии со старинных открыток. Мне они очень нравились.

Помню, я устроил на своём письменном столе целую выставку под стеклом из таких «религиозных изображений». Мне тогда было лет 16. Моя сестра, которая моложе меня на 10 лет, чуть ли не со слезами спросила меня: «Ты что, верующий?». Это примерно равнялось вопросу: «Ты сошёл с ума?». Я поспешил её успокоить: «Нет, я неверующий, просто историей интересуюсь». Сейчас моя сестра, как и я – верующая, недавно мы с ней с улыбкой вспоминали этот эпизод из её детства.

А только ли интересом к истории был вызван мой подростковый интерес к религиозным открыткам? Это очень сложный вопрос, но думаю, что нет. Я не верил в Бога, но уже старшеклассником я хотел в Него верить, что хорошо заметно по моему дневнику. Кажется это была своего рода «игра в православие». Это примерно как ребёнок очень хочет быть солдатом, но не может, а потому играет в солдатиков.

Тётя Тоня никогда не говорила со мной о вере. Они с моими родителями видимо считали: если в школе будут говорить одно, а дома – другое, это ни к чему хорошему не приведёт. Может быть, они и были правы, хотя не уверен.

А вот с тётёй Лизой в Песках мы говорили на сей предмет. Она иногда рассказывала мне какие-то религиозные истории, хотя ничего в память не врезалось. Она и меня любила послушать, что-нибудь такое «из истории». Помню, я рассказывал ей про Александра Македонского, о том, какой это был замечательный человек, а она удовлетворенно заключила: «Так ведь у нас вера-то греческая». Мы остались довольны друг другом. Хотя она тоже никак не пыталась на меня влиять, никакой «религиозной агитации» с её стороны не было.

Мне было, наверное, лет 17, когда я узнал, что у неё есть «Новый завет» – старый, ещё дореволюционный. Я попросил его почитать. Она разрешила. Я тогда приехал в деревню ненадолго, но «Евангелие от Матфея» успел прочитать, делая при этом выписки в блокнотик, который всегда был у

меня с собой. Евангелие меня не потрясло, но заинтересовало, я узнал, что там есть интересные мысли. Я попросил у тётки Лизы разрешить мне взять «Новый завет» в Вологду. Она отказала, сказав, что читает его каждый день и расстаться с ним не может. Не сказать, что я сильно расстроился.

Тётя Лиза была человеком очень простым, не сильно грамотным и серьёзные религиозные вопросы мы с ней обсуждать не могли. А я в те годы очень хотел бы поговорить с каким-нибудь священником. Я отнюдь не собирался никого обращать в атеизм, мне просто было очень интересно послушать, что может сказать умный, но при этом верующий человек в защиту религии. Но поговорить с таким человеком у меня возможности не было.

Как-то воскресным днём я пошёл в церковь, ни слова не сказав об этом родителям (об этом есть запись в моём дневнике). Не знаю, что я там хотел увидеть или услышать, но эта реальность тянула к себе юного атеиста. Вообще, мне хотелось бы услышать проповедь священника, хотя, кажется, я на это не особо надеялся. Может быть, я пришёл слишком поздно, но литургии не было, а посреди храма стояло три гроба: два со старушками, один – со старичком. Я смотрел по сторонам, рассматривая убранство храма, а какая-то старушка ткнула меня в бок и, показав на гробы, сказала: «Смотри, больше не увидишь». Она была уверена, что в одном из гробов – мой родственник, а иначе откуда бы взялся в храме этот мальчишка? Кому могло прийти в голову, что

мальчик пришёл в храм по своему личному желанию из своего личного интереса к религии?

Когда в 14-15 лет я писал стихи, некоторые из них касались религиозных вопросов. Были у меня омерзительно богохульные стихи (к тому же – тупо графоманские). Я их, к сожалению, до сих пор очень хорошо помню, потому что я вообще не часто что-нибудь забываю. Когда они мне вспоминаются, я сразу же включаю в голове гудение, своего рода глушилку, чтобы не поганить сознание глупой мерзостью. Тут всё понятно: мальчик выяснял отношения с Богом, в Которого не верил. Кажется, моё сознание всегда вертелось вокруг вопроса о Боге, как язык вокруг больного зуба.

А вот было у меня ещё одно стихотворение, которое мне никогда не нравилось и которое я никогда не включал в чистовые тетрадки со своими стихами, но которое помню наизусть вот уже без малого 40 лет. Это стихотворение удивительно тем, что написано мальчишкой лет 15-и, который даже мысли не допускал, что Бог может существовать.

Холодный мир земного горя
Душой принять я не могу
И, бесполезно с ним не споря,
К Тебе, о Господи, бегу.

Тоска по вере сердце гложет,
Тоска небесной чистоты

Никто понять меня не может,
Поймёшь, о Господи, лишь Ты.

Поймёшь, как сердце тосковало
Под градом гадких едких слов.
Пуškai я грешен, и не мало,
Но я раскаяться готов.

Вдали от чуждых иноверцев
Свои грехи я замолю
И святость Бога чутким сердцем
Через мученья полюблю.

Одна надежда и отрада,
Одна в душе моей мечта.
Чтоб с верой чистою во взгляде
Узреть распятого Христа.

Откровенно говоря, это стихотворение и до сих пор мне не нравится. Какое-то оно слащавое и как будто фальшивое. Хотя вроде бы, ладное и складное и, что самое удивительное – вполне грамотное с православной точки зрения, то есть я не вижу в нём ничего, что принципиально противоречило бы православию и создавало его искажённый образ. Но ведь это написал мальчик не только не верящий в Бога, но и вообще ничего не знающий о православии. Ангел мне что ли

это продиктовал? Конечно, ангел мог сочинить что-нибудь и получше, но, с другой стороны, ему приходилось сочинять в соавторстве со мной, так что ничего лучше получиться не могло. И так довольно неплохо вышло.

Может быть, мне не нравится это стихотворение потому что я знаю, что в нём обман: о вере в Бога пишет неверующий человек. Но если вы скажете, что оно очень даже неплохое, спорить не стану.

Ну вот откуда это взялось? А это классический феномен «русского мальчика», как будто прямо из романа Достоевского. Душа ребёнка, измученная атеизмом, не просто просила, а требовала веры, при этом будучи уверенной, что веры быть не может. Вам сейчас, наверное, трудно даже представить, до какой степени нам тогда казалось невозможным верить в Бога. То, что Бога нет, казалось нам совершенно незыблемой аксиомой, которую даже доказывать глупо, а опровергнуть совершенно невозможно.

Когда я уже учился в институте, тётя Тоня Мурашёва достала для нашей семьи Библию. Это была тогда огромная редкость. Просто так Библия нигде, включая храмы, не продавалась. Но на храм, видимо, время от времени приходило несколько экземпляров, которые продавали своим из-под полы. Если совсем своим, то Библия стоила 50 рублей, если не очень своим, то 70 рублей. (Для сравнения: в те годы зарплата инженера была где-то 120 рублей). Нам тётя Тоня достала Библию за 50 рублей.

«Новый завет» я проглотил сразу же и с большим интересом. Моего атеизма это нисколько не поколебало, но мир религии меня ещё больше заинтересовал. В Ветхом завете я, конечно, начал вязнуть, хотя Пятикнижие Моисея прочитал, не делая перерывов. Ещё бы мне не интересно было прикасаться к «тайным знаниям», которые советская власть держала под негласным запретом.

Кажется, я учился на втором курсе, когда мама уговорила меня сходить на исповедь и причастие. Я согласился, хотя по-прежнему не верил в Бога, но эта «игра в православие» казалась мне чем-то даже интересным, как будто бы играешь роль древнерусского человека, прикасаешься к седой старине. Но из храма меня вытолкнуло. Я простоял на службе минут 15 и вдруг почувствовал, что должен немедленно отсюда уйти. Я вышел на улицу, мама за мной, я очень жёстко сказал ей, что иду домой. Она не стала возражать, но через некоторое время опять предложила мне пойти на исповедь и причастие. Я опять согласился и на сей раз всё получилось – я исповедался и причастился. Мне было тогда лет 20. Меня немного корбило от мысли, что я поступаю вопреки своим убеждениям, но не хотелось лишний раз огорчать маму, да и самому было в какой-то мере интересно.

Когда я уже работал в Леже – продолжал штудировать Библию. Моё уважение к христианству всё возрастало, но я продолжал оставаться атеистом. Помню, даже написал лично для себя некий опус под названием «В чём моя вера». Там я

доказывал, что евангельские рассказы о чудесах, совершённых Христом, это на самом деле притчи огромной глубины и мудрости. То есть никаких чудес на самом деле не было, но Евангелие – это всё же замечательный учебник жизни.

Помню, как тогда увлёкся личностью декабриста Михаила Лунина. Этот лихой «синий гусар» – человек железной воли, поразительной храбрости и большого ума был верующим, хотя католиком. Помню, как выписал из дневника Лунина поразившие меня слова: «Тело моё страждет в Сибири от холода и лишений, а дух странствует по равнинам Вифлеемским, бодрствует вместе с пастухами и вместе с волхвами вопрошает звёзды». (цитирую по памяти).

Эти слова я поставил эпиграфом к своему опусу «В чём моя вера», из которого следовало, что никакой веры у меня нет. Но как хотелось разделить с Луниным его возвышенные религиозные чувства.

Уже работая в районной газете, я любил делать публикации по церковной тематике, например, очень заинтересовался судьбами репрессированных священников. Впрочем, тогда, в 1989 году, церковной тематики вокруг нас было не лишка. Но она уже была на пороге. Например, услышав, что собираются открывать Спасо-Прилуцкий монастырь, я тут же бросился названивать в епархиальное управление, чтобы узнать подробности.

А тогда я уже верил в Бога? (Мне было 26 лет). Поразительно... кажется... я не помню. Похоже, это было некое по-

граничное состояние. Предраcсветные сумерки. Не так легко бывает провести грань между двумя состояниями души: «я с уважением отношусь к православию» и «я – православный». Кто-то зависает между этими реальностями на всю жизнь, а у меня пограничное состояние длилось, кажется, несколько лет.

В конце 1990 года мы начали создавать новую городскую газету, я сразу взял себе религиозную тематику. А настоятель кафедрального собора протоиерей Константин Васильев был тогда депутатом горсовета. Зная отца Константина по горсовету, я подошёл к нему и поделился своим замыслом: «В следующем году хотим ввести рубрику «Христианские праздники». Сможем печатать тексты под этой рубрикой примерно раз в месяц. Можно отобрать за год примерно столько праздников?». Отец Константин посоветовал взять двенадесятые праздники, тогда я попросил его помочь с источниками, такой информации тогда нигде не было. Он пообещал мне приносить соответствующие тома свт. Димитрия Ростовского, у него были в личной библиотеке полные «Четы Миней». Я держал в руках увесистые тома ещё до-революционного издания и чувствовал себя счастливым. Но одного Димитрия Ростовского было недостаточно, надо ещё было найти информацию, как какой праздник празднуется. А в областной библиотеке по религиозной тематике была только атеистическая литература. Её я и использовал, определённую информацию эти книги всё же содержали.

В течение 1991 года мы реализовали свой проект полностью. Сейчас меня забавляет, из каких ингредиентов я готовил тексты: дореволюционные «Четыи Минеи» и немного атеистической литературы, из которой я отфильтровывал поток безбожного бреда.

Всё это меня невероятно увлекало, но верил ли я тогда в Бога? Мама как-то сказала, что надо бы мне на исповедь и причастие. На сей раз я уже очень легко принял эту мысль и обратился к отцу Константину, чтобы он меня исповедовал. К знакомому священнику все же легче было идти. Батюшка не отказал.

В начале исповеди он меня спросил:

– Вы верите в Бога?

– Я христианин, – твёрдо ответил я.

– Знаете, есть такая история, – горько улыбнулся батюшка. – Поймали одного разбойника, убийцу и грабителя. Спрашивают у него: «Ты кто?». А он отвечает: «Я христианин».

Опытный священник сразу почувствовал, что с моей верой что-то не так. Сейчас я и сам это понимаю. Почему на вопрос, верю ли я в Бога, не ответил просто «Да»? Мой ответ был типичной интеллигентской увёрткой. Ведь христианином может назвать себя человек, который разделяет учение Христа, при этом вовсе не считая Его Сыном Божиим. Неужели я тогда таким и был? Да вот не помню! Я пытаюсь сейчас понять смысл своего ответа батюшке, как если

бы речь шла о другом человеке. Впрочем, отец Константин принял мою исповедь и допустил к причастию.

И ничего в моей жизни не изменилось. Время от времени я заходил то в один, то в другой храм, был как-то ещё на исповеди и причастии. Но это были эпизоды. Во всяком случае, «Отче наш» я наизусть не знал. Ох уж эта мне интеллигентская размазня, это «не два, не полтора». Я хорошо знаю цену интеллигентщине, потому что сам из неё вышел, и не факт ещё, что вышел полностью.

Где-то в конце 1991 года я пошёл в Прилуцкий монастырь, чтобы взять интервью у наместника. Так я познакомился с игуменом Ефремом (Виноградовым). Отец Ефрем произвёл на меня огромное впечатление. Блестящий столичный интеллеktуал, очень яркий интересный собеседник, он даже внешне впечатлял своим орлиным носом и большой чёрной бородой. За таким человеком хотелось идти. Я встретил того, кто был мне нужен.

По мотивам нашей первой встречи я подготовил очерк, отец Ефрем прочитал его, внимательно на меня посмотрел и спокойно сказал: «Это хороший текст». Да, тогда я уже что-то понимал, по крайней мере, рвался к пониманию, и ба-тюшка это оценил. Но верил ли я тогда в Бога? Ну тогда, наверное, уже верил. Но почему же я не уверен в этом?

Я помню, как во мне что-то хрустнуло, когда я узнал, что Бог не есть старик, сидящий на облаке, Бог есть Дух, который наполняет собой всё. Я чётко помню те слова, которые

родились в моей душе в ответ на это открытие: «Ну в такого Бога я вполне могу верить». Но почему я не помню даже, кто мне это сказал и совсем не помню в каком году это было? Да потому что великое и судьбоносное открытие «Бог существует» не произвело в моей жизни никакой перемены. Потому что пока человек не в Церкви, пока он лишь эпизодически околачивает церковный порог, сам факт признания бытия Божия ничего не стоит и ничего не значит.

Меня тянуло ко всему церковному, да мало ли кого к чему тянет по причинам может быть психологическим, а то и просто эстетическим. Это ещё не религиозность. Человек, даже твёрдо уверенный в том, что Бог есть – ещё не обязательно – религиозный человек.

Я тогда задумал целую книгу про Прилуцкий монастырь, и у меня появился повод для регулярных встреч с отцом Ефремом. Батюшка несколько раз давал мне хорошие книги, например, Нилуса, и для меня понемногу начал открываться живой мир церковной веры. Я несколько раз бывал на литургии в монастыре, но как-то это всё было... вяло.

И вот я закончил книгу, внёс в неё всю правку, которую попросил сделать отец Ефрем, и принёс ему чистовой вариант, с тем, чтобы он похлопотал об издании. А отец Ефрем покинул Вологду. И книга осталась у него.

Тем временем несколько лет нараставшие в моей душе количественные перемены начали приобретать черты нового качества. Я уже чувствовал, что хочу в церковь по-настоя-

щему, по-нормальному, но к этому, видимо, нужен был ещё один толчок.

Как-то на пороге моего редакционного кабинета появился бородатый мужчина лет сорока. Он просто сказал: «Отец Ефрем просил вам передать», протянув мне папку с машинописью моей книги. На мои вопросы об отце Ефреме он отвечал коротко, односложно, явно не будучи расположен к общению. Но уходя, уже взявшись за ручку двери, он сказал через плечо: «Если я буду нужен, меня можно найти за каждой литургией в Лазаревском храме».

Где-то через месяц я его нашёл, и мы начали регулярно встречаться. Он научил меня всему, чему был научен от своего духовного отца. Он терпеливо отвечал на мои глупые неофитские вопросы. Каждый раз я уходил от него с пачкой православных книг из его обширной личной библиотеки. Я впервые серьёзно подготовился к исповеди и причастию. Причащался три недели подряд, как мне порекомендовали. С этого времени я считаю себя церковным человеком. И конечно же, я очень хорошо, в деталях помню, как проходило моё воцерковление. Это был август 1994 года.

Помню, иду я в храм на свою «генеральную исповедь» по пустынной утренней улице. А тогда пару дней назад умерла тётя Тоня Мурашёва. И вдруг, то ли запахом каким на меня опахнуло, то ли ещё что, но я почувствовал её присутствие рядом с собой. Меня это не удивило, я улыбнулся и подумал: «Тётя Тоня... всё нормально».

Мне тогда только что исполнился 31 год. С тех пор я в Церкви 20 лет.

Мне не раз приходилось встречаться с «как бы верующими» околоправославными интеллигентами, которые считают, что «обрядовость» и исполнение «всех правил» – это не главное, а главное – «Бога в душе иметь». Я сам такой был. Я знаю, чего стоит эта позиция. Она не стоит ничего. Любая нецерковная вера – иллюзия, самообман. Человек не сможет «иметь Бога в душе», пока он вне Церкви.

На этом я решил завершить свои автобиографические заметки. Нет никакого смысла вспоминать о тех событиях, от которых меня отделяет менее 20-и лет.